



БАБУШКИНА

ВЛУЧКА

Н. АННЕНКОВА-БЕРНАР

Нина Павловна Анненкова-Бернар

Бабушкина внучка

Ненси красива, молода, богата, изнежена, окружена заботой, замужем за любимым. У нее есть всё, что нужно для счастья, не так ли?

Содержание

#1	0006
I.	0007
II.	0021
III.	0028
IV.	0050
V.	0059
VI.	0082
VII.	0108
VIII.	0126
IX.	0139
X.	0158
XI.	0165
XII.	0175
XIII.	0192
XIV.	0205
XV.	0213
XVI.	0225
XVI.	0232
XVII.	0242
XVIII.	0259
XIX.	0276
XX.	0282
XXI.	0289
XXII.	0299
XXIII.	0308

XXIV.....	0317
XXV.....	0327
XXVI.....	0344
XXVII.....	0353

**Нина Павловна Анненкова-
Бернар
Бабушкина внучка**

ПОВЕСТЬ.

Ненси только что проснулась и, лениво потягиваясь, дернула длинный шнурок сонетки. В дверь постучали.

— Entrez![1]

В комнату вошла белокурая швейцарка-горничная.

— Ce que désire mademoiselle?[2]

Но прежде чем получился ответ, в ту же минуту из большой комнаты, находившейся рядом с той, где спала Ненси, появилась высокая фигура очень пожилой дамы, одетой в черное шелковое платье с длинной пелериной; голову ее прикрывал большой кружевной чепец. Лицо вошедшей носило следы давно уже утраченной строгой красоты. Седые волосы были спереди слегка подвиты, и брови старательно подрисованы. Эти подрисованные брови на совершенно старом, поблекшем лице производили неприятное впечатление и оттеняли еще больше холодный, несколько острый блеск глубоко засевших в своих впадинах, когда-то прекрасных черных глаз; а прямой стан, белые, холенные руки и

горделивая, даже несколько высокомерная посадка головы придавали всей фигуре какую-то особую величавость. Это была бабушка Ненси — Марья Львовна Гудаурова.

Она безмолвно рукою махнула горничной, и та вышла.

— Сколько раз я тебе говорила — не зови ее без надобности, — заметила Марья Львовна полустрого Ненси, — я ведь здесь — и помогу тебе встать сама.

— Ах, бабушка, она такая смешная, эта Люси, такая смешная... Она мне нравится....- спешила оправдаться Ненси.

— Ну, хорошо, хорошо. Стань, крошка, — я буду тебя вытирать.

Ненси прыгнула на клеенчатый коврик возле кровати и, дрожа всем телом, терпеливо ожидала конца скучной операции, которую бабушка аккуратно совершала над ней каждое утро. Но Марья Львовна не торопилась. Она медленно, как бы смакуя, проводила губкой, потом — жестким полотенцем по гибким членам еще не вполне сформированного, нежного тела Ненси.

— Ну, одевайся, крошка!

— Ах, слава Богу!.. Ах, как скучно, бабушка, это обтирание!.. — И Ненси торопливо начала одеваться.

— Зато ты мне скажешь потом спасибо, крошка, когда в сорок лет будешь еще совсем молода.

— Ах, это так долго, долго ждать. Я не доживу... и потом — сорок лет... Ай, какая я буду старуха!..

— А твоя мать?

— О, мама молодая!..

— Но ей сорок лет.

Ненси задумалась.

— Ну, что же ты? Снимай перчатки и одевайся.

— Ах, да...

Ненси стащила с рук широкие замшевые перчатки, в которых всегда спала, по приказанию бабушки, и стала поспешно одеваться.

«Elle a du chien, — думала бабушка, любовно глядя на ловкие движения Ненси и представляя ее себе уже расцветшей красавицей в парадном, пышном туалете декольтэ, дразнящем глаз и воображение, окруженною толпою блестящих поклонников. — Oui, elle a du

chien!..»[3]

— А мама встала? — спросила Ненси.

— Elle fait la toilette...[4] Ах, постой! — испуганно остановила бабушка Ненси, нетерпеливо дергавшую гребнем свои длинные золотистые волосы. — Ты с ума сошла. Дай, я сама расчешу. Ты помнишь, мы читали, почему Сара Бернар сохранила свои волосы: il faut les soigner[5] — надо осторожно с ними... Они требуют особого ухода, если хочешь сохранить их до глубокой старости.

— Ну, бабушка, все сохранять да сохранять — это скучно!

— О, дитя, — загадочно улыбнулась старуха, — наша жизнь прекрасна, пока она молода, и чем дольше сумеешь казаться такою, тем дольше будешь жить и пользоваться счастьем.

— Да как же это, бабушка? Вот ты: видишь — волосы седые, а брови надо чернить... Значит, все бесполезно, — наставительно произнесла Ненси.

Тень легкой не то — скорби, не то — иронии пробежала по полным губам несколько крупно очерченного рта старухи. Держа меж-

ду пальцами концы прядей золотистых волос Ненси, она осторожно расчесывала их, стараясь не зацепить, не порвать ни одного волоска.

— Вот, бабушка, ты и замолчала, — с торжеством воскликнула Ненси, — вот ты и побеждена, побеждена, побеждена!..

— Совсем нет, — снова улыбнулась старуха, — ты не можешь ничего этого понять. Наступают известные годы. В шестьдесят семь лет, как мне, это уж настоящая старость, и в такие годы стараться быть молодой смешно, да и бесполезно... Но видишь: я все же не хочу быть безобразной, как другие старухи, и, чем могу, достигаю того: мою руку всякий может с удовольствием пожать, даже поцеловать — она мягка, бела, приятна; волос красить я не буду — *c'est ridicule*[6], но беззубый рот и лицо без бровей не эстетичны. Я не стану рядиться — это смешно, но я всегда одета просто и изящно; глядя на меня, никто не скажет: «какая безобразная, противная старуха»!

— Да, правда, правда, бабушка! — звонко захохотала Ненси. — Юлия Поликарповна... у нее один только зуб во рту, и когда она гово-

рит — у нее так смешно и противно высывается язык с одной стороны... и потом она вытягивает губы... фуй, как противно!.. У-у-у, ты моя красавица, красавица, красавица! — Ненси неожиданно бросилась на шею в старухе и стала ее осыпать поцелуями.

— О, моя прелесть!.. Психея!.. — шептала растроганная Марья Львовна, отвечая на поцелуи внучки.

Она посадила в себе на колени девочку.

— А ты, ты посмотри на себя, — как ты прекрасна! — произнесла она с восторгом, приподняв руку Ненси. — Смотри, какие тонкие линии — совсем Психея... Все это создано для радости и счастья. И ты должна все это холить и беречь. Теперь — Психея, потом будешь Афродита... Помнишь... мы смотрели в Лувре?

— Ах, эта безрукая?!

Бабушка засмеялась и потрепала Ненси по щеке.

— О, глупенькая крошка! Это — красота!

Она спустила Ненси с колен.

— Однако, будет! — поскорей одевайся и пей свой шоколад.

В комнату вошла легкой, моложавой походкой, в нежно-розовом фуляровом капоте, роскошно убранном кружевами, высокая, элегантная брюнетка.

— Bonjour, maman[7], — почтительно наклонила она свою причесанную по последней моде голову, чтобы поцеловать руку Марьи Львовне.

Вошедшая нимало не походила на свою мать. Это была довольно красивая особа средних лет, с мелкими, неправильными чертами лица. Круглые, высоко поднятые брови под низким лбом придавали всей физиономии не то наивное, не то удивленное выражение; а большие синие глаза красноречиво говорили о бессонных ночах... В них жило что-то животное и бесстыдно-разгульное... Едва заметный пушок легкою тенью лежал над верхней губою ее маленького, пухлого рта, а начинающие уже отцветать щеки были покрыты тонким слоем душистой пудры.

— Здравствуй, — сухо ответила на ее приветствие Марья Львовна. — Ты уже почти готова, а мы, видишь, еще прохлаждаемся.

Сусанна Андреевна — так звали брюнет-

ку — не обратила ни малейшего внимания на холодный прием старухи и порывисто бросилась к Ненси.

— Здравствуй, моя прелесть!

Она крепко расцеловала нежные щеки дочери.

— Ой, да какая же ты вкусная!.. У нее разве нет цветных рубашек, тамап? — спросила она Марью Львовну.

— Нет. Я предпочитаю и для ночных, и для денных — белые.

— Ах, нет, *c'est si joli... rose pâle...*[8] отделать валансьеном, — так шло бы к этой *petite blonde*[9].

— Я не люблю, — резко ответила старуха.

Ненси была уже в коротеньком корсете «*paresseuse*»[10] и в белой батистовой юбке.

— Я — злейший враг таких корсетов, — почти с негодованием воскликнула Сусанна Андреевна, — это яд для молодых.

— Пожалуйста, не вмешивайся не в свое дело, — вспылила старуха, — я не хуже тебя знаю, что яд и что полезно.

Сусанна Андреевна уступила и замолчала. Входить в препирательства с матерью, да еще

из-за таких пустяков, вовсе не входило в ее планы. Она провела очень веселую зиму в Ницце и, соблазняясь соседством Монако, посетила этот прелестный уголок, где оставила в неделю все свое, полагающееся ей от матери и от мужа, годовое содержание; а теперь, воспользовавшись пребыванием Ненси с бабушкой в Савойе, она прилетела сюда и, разыгрывая роль нежной дочери и мамыши, еще не успела приступить к цели своего приезда. Предмет ее страсти — итальянец из Палермо — ожидал ее в Ницце и бомбардировал письмами, а Марья Львовна, как на зло, держала себя так, что просто не подступись.

С самого раннего детства Сусанна Андреевна находилась в странном положении относительно матери. Блестящая красавица, какою была Марья Львовна в молодости, к крайнему своему удовольствию, она долго не имела детей. Она выезжала, принимала поклонников, задавала пышные рауты и обеды, поражала своими туалетами заграничные модные курорты и, беззаботно кружась в вихре светской жизни, жгла миллионное состояние своего мужа, как вдруг, совершенно не ожи-

данно, на двадцать седьмом году жизни, с ужасом убедилась, что должна сделаться матерью. Не желая, чтобы ее видели в «таком положении» ее поклонники, Марья Львовна уехала в одно из отдаленных поместий; проклиная судьбу, прожила она там девять болезненных месяцев беременности; проклиная, родила дочь, которой, тем не менее, пожелала дать красивое имя Сусанны. После чего, в сопровождении прелестной «беби» и рослой кормилицы, снова возвратилась в Петербург, в круг своих обожателей, по прежнему стройная и обаятельная. Беби с кормилицей поместили подальше, во внутренние комнаты, и каждый день мамка, нарядив ее во все лучшее и нарядившись сама, преподносила ее «мамашеньке» в будуар, где Марья Львовна, в утреннем дезабилье, обыкновенно принимала, перед завтраком, своих интимных друзей. Она полулежала на кушетке, перед ней стояли цветы и корзины с самыми редкими, по сезону, фруктами. Она подносила к глазам беби персик или пунцовые вишни и смеялась, когда не умеющий владеть своими движениями ребенок тянул ручонки вправо,

желая поймать находящийся от него влево предмет. Интимные друзья приходили в восторг и бросались целовать беби. Ребенок подрос — понадобилось кормилицу заменить нянькой. Выписали старушку, сестру одного из управляющих имениями, а для надзора за нею привезли из Парижа француженку. Mademoiselle Тереза, или Тиза́, как ее сокращенно именовали, интересовавшаяся в новой для нее обстановке положительно всем, кроме вверенного ее попечению ребенка, решила с истинно парижской ловкостью воспользоваться своим пребыванием в богатом русском семействе, чтобы собрать тот мед, который ее соотечественники в таком обилии привозят с «дикого» севера. Для этой цели она подружилась с интимными и неинтимными друзьями Марьи Львовны, устраивала свиданья, сплетничала, наушничала; она выучилась с изумительным искусством направлять в ту или другую сторону симпатии и антипатии обольстительной прелестницы — своей патронессы. Боже сохрани было заслужить нерасположение *Тиза!* Это знали все «друзья дома» и наперерыв, один за другим, осыпали

ее подарками и деньгами. Муж Марьи Львовны — человек ограниченный и смиренный, обожая свою красавицу-жену и всецело будучи ее рабом, считая для себя священной обязанностью удовлетворение самого малейшего ее желания — беспрекословно исполнял все прихоти и затеи Марьи Львовны. А причудам ее не было конца. Таким образом, несмотря на свое огромное состояние, он был вечно в тревоге, вечно озабочен, постоянно разъезжая из одной губернии в другую для проверки управляющих и доходности своих обширных поместий. Сусанне минуло десять лет, и теперь, кроме неизменной Тиза, штат ее воспитателей увеличился еще целым синклитом учителей. Сусанна училась небрежно и лениво. Ее гораздо больше интересовали роскошные туалеты матери, чем книги. Она засматривалась на них, любовалась, и потом мечтала о них целыми днями. Часто из своей далекой «класной» она с завистью прислушивалась к шуму парадных комнат, где царило вечное безумное веселье и где средоточием этого веселья, богиней его была, казалось, неуязвимая временем, ее красавица-мать. Ма-

рья Львовна, накануне своих сорока лет, оставалась по прежнему обаятельной, по прежнему неизменной властительницей сердец, и Тиза могла также по прежнему собирать обильную жатву даров с «интимных» и «неинтимных» друзей. Но годы шли, Сусанна подрастала. Вот, наконец, настал тот день, когда она, конфузясь, но с тайной радостью в сердце, появилась в наполненном мужчинами будуаре матери. Все были поражены, начиная с самой Марьи Львовны, юной прелестью этого распускающегося цветка. Около того времени умер муж Марьи Львовны. Волей-неволей приходилось самой заняться делами. Прошел добрый год, пока они постигла, наконец, кое-как те тайны мелочных забот практической жизни, которых всегда чуждалась, считала чем-то низменным и которые ей были противны до отвращения. Между тем Сусанне минуло семнадцать лет. Марья Львовна испугалась. Вертясь среди вечного праздника жизни, она не замечала существования дочери. Но как же теперь?

Вернувшись к прежней обстановке и «друзьям», она принуждена была, скрепя сердце,

всюду и везде появляться с дочерью. Сусанна обращала на себя всеобщее внимание. Как в шампанском, в ней играла жизнь, была ключом, опьяняя и ее самоё, и всех окружающих. Искусство опытной кокетки, умевшей годами поддерживать привязанности к себе, меркло перед возникающей силой этой будущей вакханки. Марья Львовна возненавидела дочь и задумала выдать ее замуж по возможности скорее, без проволочек, без раздумья, только скорее. Случай не заставил себя ждать. Выбор пал на прокутившегося кассира, забулдыгу и пьяницу. Приданое дано хорошее и дело слажено. К тому же Сусанна сама стремилась выйти замуж, — в этом она видела настоящую свободу и зарю новой, веселой жизни, о которой мечтала еще в детстве, завидуя матери. Выйдя замуж, Сусанна не теряла драгоценного времени. Муж был очень доволен ее взглядами на жизнь, без излишней сантиментальности и предрассудков, — и оба превесело проводили дни, не мешая нисколько один другому. Вскоре появилась у них за свет Ненси.

II.

Бабушка впервые увидела Ненси, когда ей исполнилось два года. То были дни тяжелых, грустных испытаний для Марьи Львовны. Толпы интимных и неинтимных друзей редели и исчезали вокруг пятидесятичеловекстарухи. Тиза давно покинула свою *chère dame*[11] и поселилась где-то в одной из французских провинций, устроив *son ménage*[12] на приобретенные нетрудным путем русские деньги. Хотя, благодаря богатству Марьи Львовны, целые оравы льстецов, добивавшихся ее благосклонности, и теперь теснились возле нее, заменяя прежних рыцарей-поклонников ее неотразимой красоты и прелести, но Марья Львовна была слишком горда и самолюбива. Ей становились противны, гадки все эти немолодые и молодые люди, опивающиеся ее шампанских и готовые притвориться даже влюбленными в нее. Она презирала их. Она привыкла видеть у своих ног поэтов и музыкантов, слагающих в честь ее стихи и романсы, миллионеров, готовых ради ее благосклонности спустить все свое со-

стояние. Она привыкла из лучших лучшим отдавать симпатии своего сердца. Все ее многочисленные любовные истории были полны иллюзий и поэзии. Она привыкла царствовать над мужскими сердцами всесильной властью своего женского могущества красавицы... И вдруг признать эту силу в деньгах, покупать любовь и ласки за деньги! Нет, для Марьи Львовны это было бы хуже смерти. Она закрыла наглухо двери своего огромного дома в Петербурге и уехала за границу, где искала хотя какого-нибудь забвения. Но где найти его? Всесильные чары ушли, оставив за собою только раздражающую сладость далеких воспоминаний. Сознание этой невозвратимой утраты преследовало ее повсюду: и в Париже, и в излюбленных курортах... Она поселилась, наконец, в Монако и там всецело отдалась во власть отвратительному чудовищу, придуманному человеком — рулетке. Она играла, играла, играла с безумством утопающего, хватящегося за соломинку. Однако практический смысл, который она приобрела во время управления делами, после смерти мужа, пришел вовремя на помощь и помог ей

выбраться из бездны, куда тянула ее ненасытная потребность забвенья. Перед нею точно в видении промелькнуло что-то страшное; она увидела грозный призрак нищеты и, ужаснувшись ее возможности, — очнулась. В одно прекрасное утро, когда особенно ярко и приветливо светило солнце, она покинула очаровательный уголок, оставив в жертву прожорливого чудовища миллион из своего двух с половиною миллионного состояния. Подъезжая к России, она, кажется, в первый раз за все время охватившего ее безумия, вспомнила, что у нее есть дочь, и решила посетить ее. В сердце Марьи Львовну зашевелилось даже что-то похожее на любовь — во всяком случае, то была жажда прилепиться к чему-нибудь, жажда привязанности и ласки. Когда она увидела Ненси, необыкновенно восторженное чувство овладело ею: о! это — живое олицетворение амура с картины Мурильо! Один из выдающихся художников своего времени был несколько лет фаворитом Марьи Львовны, и она выучилась у него применять свои впечатления жизни в произведениях искусства. «Амур с картины Мурильо» до

того овладел всеми чувствами Марьи Львовны, что она прожила у дочери гораздо более, чем предполагала, и когда пришлось уезжать, решилась предложить отдать ей совсем Ненси. Чете Войновских (такова была фамилия родителей Ненси) этот план пришелся очень по вкусу. Приданое Сусанны было уже на исходе, и папаша с деликатной осторожностью намекнул бабушке, что, в виду тяжелой для них разлуки с единственной обожаемой дочерью, недурно было бы родителей снабдить более или менее солидной суммой. На одновременную выдачу Марья Львовна не согласилась, но определила ежегодно выдавать Сусанне денежное пособие. На этом покончили, и амур был отдан в полное распоряжение бабушке. Никогда не знавшая детской близости, Марья Львовна растерялась, недоумевая, как лучше обращаться с очаровательным амуром. Одно казалось ей несомненно ясным: жизнь Ненси должна быть сплошным праздником; ни в чем не должен встречать отказа этот чудный ребенок; он должен быть окружен роскошью и негой, потому что создан для счастья, радости и власти. Так решила Марья

Львовна и, чтобы дать образцовое воспитание внучке, пригласила для этой цели рекомендованную ей одну очень почтенную особу; но она оказалась, к сожалению, воспитательницей чересчур суровой, с слишком спартаанскими взглядами; бедная изнеженная Ненси часто плакала, и бабушка рассталась с воспитательницей. Притом, боясь, что долгие усидчивые занятия, к которым, благодаря своей впечатлительности и любознательности, была склонна Ненси, губительно повлияют на здоровье нервной, малокровной девочки, Марья Львова нашла, что лучшим и наиболее успешным воспитателем в деле образования будут для Ненси путешествия. Они стали ездить по Европе, не оставляя позабытым ни одного уголка, хоть сколько-нибудь и чем-нибудь замечательного. И действительно, Ненси скоро выучилась свободно болтать на немецком, французском, английском и итальянском языках — как на своем собственном. Она, правда, затруднилась бы сказать, шесть ли шесть тридцать шесть или шестью семь, но зато она твердо знала все школы живописи, она могла указать, в каком музее или

картинной галерее, и где именно, находится картина такого-то мастера, и никогда вещь времен Людовика XIV не приняла бы за принадлежащую эпохе Людовика XV. Бабушка радовалась блестящему облику, приобретенному, благодаря путешествиям, ее любимицей, все более и более убеждаясь в правильности своих взглядов на воспитательное значение путешествий.

Организм Ненси был так болезненно хрупок, что доктора не позволяли ей жить в Петербурге, и бабушка продала там свои огромные дома, положив раз навсегда никогда более не возвращаться в этот пагубный для здоровья Ненси город. Пользуясь всеми благами жизни богатой девочки, Ненси расцветала и хорошела с каждым днем. Марья Львовна упивалась, таяла, блаженствовала, созерцая свою любимицу; ей казалось, что в этом нежно-прозрачном теле возрождается она сама, по-прежнему юная, прекрасная, и снова начинает жить, радоваться, наслаждаться.

Вот именно в эту эпоху мы и застаем их в Савойе, близ Женевы, в горах, где бабушка поселилась в прелестном *château*[13], чтобы

Ненси подышала свежим горным воздухом, а к августу месяцу предполагалось увезти ее в русскую деревню, по предписанию доктора, на всю зиму.

III.

Был ясный и жаркий день, и Ненси настаивала непременно предпринять прогулку на Grand Salève[14], откуда открывается великолепный вид на Монблан и ближайшие к нему горы. Сусанна Андреевна хотя не особенно долюбивала подобные экскурсии, но на этот раз, в виду своего зависимого и затруднительного положения, выразила даже восторг от предполагаемой прогулки. Сначала Ненси пожелала было идти пешком, но тотчас одумалась и, пожалев бабушкины ноги, предложила поездку на ослах; а когда и это предложение оказалось несостоятельным, остановилась на заключении, что самый удобный способ восхождения на гору — электрический трамвай, ежечасно доставляющий туристов на вершину Salève, в месту, неизвестно почему-то называемому «Treize arbres»[15]. Очевидность благоразумия последнего предложения была признана всеми, и вот в четыре часа, после плотного завтрака, наши путешественницы направились в станции.

Ненси очень любила природу. Она даже пробовала рисовать, и обрадованная бабушка сейчас же поспешила пригласить ей в учителя одну из парижских знаменитостей; но уроки ни к чему не привели, — таланта у Ненси не было, — были только любовь и чутье, отчасти природное, отчасти выработанное изучением картин в музеях.

— Бабушка, смотри, какое освещение в долине! — восхищалась Ненси, когда они в маленьком вагончике медленно поднимались в гору. — Видишь эту тень сбоку, бросаемую горой... а влево, — посмотри, — деревья купаются в солнце — видишь? Да, бабушка?

— Да вижу я... вижу! Чего ты кипятишься?

— Монблан как великолепен!.. и все горы!.. Я правду говорила, что надо сегодня ехать? Правду?.. Мама, да что же вы не восхищаетесь?!

Сусанна, в большой соломенной шляпе, украшенной полевыми цветами, улыбаясь, небрежно кивнула головой.

— Ах, очень, очень мило! C'est splendide!..

[16] Я очень люблю горы...

Ей было невыносимо скучно. Когда же кон-

чится эта несносная идиллия и она снова умчится в Ниццу, где ждет ее черноглазый итальянец, где забудет она свои сорок лет и будет так весело, весело проводить время?!..

В маленьком красивом домике, на вершине горы, кипит жизнь: любители природы и живописных пейзажей закусывают, пьют пиво, вино, молоко; англичанки, в излюбленных ими соломенных канотьерках с прямыми круглыми полями, добросовестно изучают в бинокли подробности величественного горизонта; компания веселых, подвыпивших французов громко выражает неизвестно по поводу чего неистовый, чуть не детский восторг; далее чье-то благочестивое, тихое семейство, мирно расположась на траве небольшого лужка, с необычным аппетитом уничтожает довольно основательный запас закусок, привезенных из дому; какой-то мечтательный турист заносит в записную книжку свои впечатления...

Ненси резво побежала и бросилась на траву, прямо против гор.

— Ах, как хорошо!

— Ненси!.. — испуганно кричала Марья

Львовна, — ты простудишься, или сюда!.. Мы будем сидеть здесь, любоваться, пить citronade[17] или что ты хочешь...

— Нет, бабушка, нет! оставь меня, не бойся, — я не простужусь, ведь жарко. Не мешай, дай мне мечтать...

Марья Львовна, скрепя сердце, уступила девочке и осталась с Сусанной на террасе домика:

— О, этот своевольный, прелестный ребенок!

«Вот, кажется, удобная минута», — подумала Сусанна.

— Мамап, — начала она вкрадчиво, — ваша любовь в Ненси так... так трогательна, что я не знаю, как выразить мою благодарность!..

— Ненси — прелесть!.. — как бы про себя проговорила Марья Львовна.

— Ах, я сама обожаю ее, но, несмотря на это, всегда уступаю вам первое место, зная, как вы ее любите.

Марья Львовна ничего не сказала и только холодным, презрительным взглядом окинула дочь. Этот взгляд взбесил Сусанну.

«Ну, постой же!» — мысленно произнесла

она с ненавистью.

— Ах, татап! — вдруг заговорила она мрачно, с оттенком глубокой грусти. — Мне очень, очень тяжело сказать вам... но верьте...

— Что такое? — небрежно проронила Марья Львовна, любуясь красивым пейзажем, но более всего Ненси в траве. Девочка лежала в свободной, непринужденной позе, упершись локтями в землю и поддерживая ладонями свою прелестную головку с роскошными распущенными волосами.

— Я, право, не знаю, как это предотвратить, — продолжала Сусанна, — но мой муж... Вы знаете его взбалмошный характер... Ему вздумалось... он захотел, чтобы я с ним провела зиму... Ах, это ужасно!..

Марья Львовна оставалась безучастной.

— И он решился... он требует... чтобы Ненси тоже...

Марья Львовна вздрогнула и насупилась.

— Какой вздор!

— Да, да, да... и я... я ничего не могу поделать... потому что... Ах, татап, мне так тяжело сказать... Я не могу!

Сусанна вынула платок и приложила его в сухим глазам.

— Ну, говори скорей, не мучь! — отрывисто произнесла Марья Львовна, чувствуя, как кровь отлила у нее от сердца.

— Вот видите, тамап... Я увлеклась и... вы сами знаете, как это заманчиво... я думала выиграть и... и... вы знаете — в Монако... и вместо того...

— Ты проиграла. Ну?

— Ах, да, тамап, все... все шесть тысяч, что вы мне даете... Теперь, теперь, вы сами знаете, мне ничего не остается, как ехать к мужу, к этому извергу, и я должна, должна, тамап, и... и Ненси...

— Можешь писать своему болвану, что ты не приедешь... Ненси он не увидит, как ушей своих. Шесть тысяч я тебе дам, — презрительно проговорила Марья Львовна и направилась к Ненси.

«Ну, слава Богу!..» — и Сусанна вздохнула свободно.

Ненси лежала и думала. О чем думала — сама хорошенько не знала, но она не могла, не в силах была оторваться от этих безсвяз-

ных, крылатых дум, между тем как сердце ее билось и замирало так сладко, так мучительно-сладко... Она обводила глазами раскинувшуюся глубоко внизу широкую долину, всю усеянную маленькими белыми домиками, словно точками... Как хорошо!.. А вон там дальше, в котловине, высится грациозная зеленая Môle[18]; речка вьется у ее подножья... а сзади и с боков полукругом оцепили ее серые мглистые скалы. Еще дальше на синеве неба, — вон, вон, на самом краю горизонта — резво обозначилась линия снеговых гор. Остроконечной пикой встала Aiguille verte[19]... Вправо от нее потянулся длинный хребет самых причудливых форм и очертаний... А вот, наконец, и он, своими четырьмя изгибами как бы подпирающий небо, царственный белоснежный Монблан!

Ненси все смотрела, смотрела и смотрела. Наступал вечер. Под лучами заходящего солнца снеговые вершины приняли ярко-розовый оттенок. Монблан стал походить на фантастическое огненное облако, упавшее на совершенно теперь темные скалы; серо-лиловое небо еще ярче выделяло абрис огненных вер-

шин... Прошло две-три минуты; откуда-то набежали легкие, прозрачные тени и... все изменилось: краски мгновенно побледнели, их блеск исчез, и только один верхний край исполинского конуса Монблана оставался еще некоторое время окрашенным в ярко-розовый цвет. Но вот потух и он. Зато на небе теперь целая радуга самых разнообразных цветов. Полосы всяких оттенков — и голубая, и бледно-розовая, и лиловатая, и светло-желтая — необъятным, колоссальным ковром раскинулись по синей безоблачной лазури. Солнце ушло за Юру. Небо, по прежнему, стало все синим и из-за потемневших гор медленно, словно крадучись, выплывал бледный, меланхолический диск луны. В воздухе начало заметно свежить. В ущельях закурились туманы и поползли вверх по утесам скал...

Ненси вскочила. Она и не заметила, что возле нее давно уже стоит Марья Львовна.

Вся дрожащая, прижалась она в старухе.

— Что с тобой, крошка? — в тревоге спросила ее Марья Львовна.

— Ах, бабушка, мне хорошо... Мне хочется умереть, броситься в пропасть!..

Бабушка крепко, крепко прижала в себе пылающую головку Ненси, а старое сердце ее встрепенулось от прилива какого-то странно-го чувства радости и тревоги.

«Она созрела, милая крошка, — думала Мария Львовна. — Это любовь! L'amour encore inconnu...»[20]

И вспомнился ей темный, старинный сад, и длинная липовая аллея, и приехавший на каникулы ее кузен, красивый мальчик-лицеист, и сладкий, сладкий поцелуй первой любви... Она забыла грустные стороны этой истории: их поймали, кузена выгнали, а ее больно-пребольно высекли... Но она все это забыла, и теперь, прижимая к груди взволнованную, трепещущую девочку, как бы переживала вместе с нею предчувствие и ожидание этого первого упоительно-сладкого поцелуя любви.

Сусанна в это время, от нечего делать, рассматривала книгу, в которую путешественники вносили свои имена. Тут были надписи на всех языках, даже на японском и сиамском. Она остановилась перед страницей, где какой-то энтузиаст в глупейших стихах выра-

жал свой восторг.

Сусанна улыбнулась и захлопнула книгу.

«Какой дурак!.. Ну, скоро ли кончится прогулка с этой взбалмошной девчонкой, и когда старуха даст мне деньги, чтобы я могла, наконец, улететь от них»?..

— Maman!.. — раздался звонкий голосок Ненси, — мы уезжаем!..

— А!.. Я тут задумалась немного и не заметила, как прошло время... Mais... les pensées bien tristes, ma chère enfant.[21]

Она неизвестно почему почувствовала прилив грустной нежности и, притянув к себе Ненси, поцеловала ее в лоб.

Дома все молчаливо уселись за стол; в таком же молчании прошел и обед, после которого все вышли на террасу перед château — полюбоваться видом. Château стоял очень живописно над обрывом высокой скалы.

— Ах, бабушка, как жизнь прекрасна!.. — воскликнула Ненси, глядя на долину, всю залитую лунным светом, и на Женеву, лежащую в самой голове озера, с ее роскошной набережной, сверкающей длинной бриллиантовой лентой электрических огней...

— Да, да, да, дитя мое! — ответила Марья Львовна. — Но или спать, — ты знаешь, как мы долго возимся.

Возбужденное состояние Ненси несколько беспокоило старуху. «Надо с ней поговорить», — думала она.

Ненси неохотно повиновалась. В спальне началось снова тщательное и бесконечное расчесыванье волос, потом смочили их каким-то составом, потом заплели слабо в одну косу; потом Ненси мылась; потом бабушка натирала ей душистой мазью все тело и руки, после чего были надеты перчатки, и когда все было окончено, Ненси оставалось только закрыть глаза и спать. Но она знала, что не заснет: волнение, охватившее ее там, наверху *Saléve*, не утихало.

— Бабушка, посиди со мной!

— Охотно, моя крошка.

Марья Львовна и сама хотела поговорить с Ненси о щекотливом и необходимом предмете.

— Бабушка, знаешь, мне очень всех жалко, — сказала Ненси, улыбаясь печальной улыбкой.

Такой оборот разговора был неожидан для Мкръи Львовны.

— Как жалко?.. Кого?.. Зачем?..

— Да всех, всех... и тебя, и маму... и всех. Я сама не знаю: мне весело и жалко всех.

«Ну, это все те же фантазии, — внутренне успокоилась Марья Львовна. — Ее время пришло — это ясно». — Ненси, моя крошка... — начала она нежно.

— Ах, бабушка, знаешь что?.. — перебила ее Ненси: — я часто думаю: отчего я не жила в средние века, когда были трубадуры и рыцари, когда бились на турнирах и умирали за своих дам! Как это было чудно!.. А этот дом, где мы живем теперь... знаешь, ведь он тринадцатого века; мне рассказывала Люси, — он был разрушен и его опять построили. Подумай: здесь жил какой-нибудь владетельный барон; он уезжал в походы, его жена стояла на верху башни и ждала его возвращения. А там, внизу, стоял влюбленный трубадур и пел ей о любви...

Марья Львовна сама увлеклась нарисованной девочкою картиной.

— Поверь мне, крошка, рыцари и дамы

остались все теми же, какими они были в средние века — изменили только одежду; но пока мир живет — история любви одна и та же.

— Ах, нет, нет, нет! Теперь никто не бьется, не умирает, не похищает своих дам и никто не поет под балконами песен. А потом одежда... Если бы я была царица, я всем бы приказала одеваться опять рыцарями, а дам я всех одела бы в костюмы времен Людовика XV... А, знаешь, кем бы я хотела быть сама? Марией-Антуанеттой... Ах, как я ее люблю! Такая тоненькая, тоненькая, такая изящная...

— Ты будешь лучше, чем Мария-Антуанетта... Ненси, дитя, послушай, что я тебе скажу сейчас... Ты только молчи и слушай внимательно.

Ненси пытливо и с любопытством смотрела на видимо взволнованную бабушку.

— Вот видишь, Ненси, ты и сама не понимаешь; но во мне говорят опыт и любовь к тебе. Ты уже становишься взрослой, ты созреваешь, моя родная, и скоро, быть может, очень скоро узнаешь любовь; но помни, крошка: это — царство женщины, и это же может

стать ее погибелью. Женщина всегда должна властвовать, хотя бы путем хитрости, но никогда не подчиняться. Она должна повелевать. И ты, ты дай мне слово, если в тебе, при виде какого-нибудь мужчины, проснется что-то новое, с чем ты бороться будешь не в силах, — приди и скажи мне все, не утаивая.

Ненси засмеялась.

— О, бабушка, я уже была влюблена...

— Как?!..

— В моего учителя, в Париже. Я даже хотела убежать с ним, — таинственно прибавила Ненси. — А после отчего-то страшно стало. Я и раздумала.

Марья Львовна улыбнулась.

— Ну, это детские шалости... Может, Ненси, придти другое. Ты не стыдись, дитя: в этом — назначение женщины... Но ты приди и расскажи мне все. Это нужно не только для моего спокойствия, но и для твоего счастья... Слышишь?

— Хорошо, бабушка, — серьезно ответила Ненси.

— Ну, а теперь спи.

Марья Львовна перекрестила внучку и вы-

шла, направляясь в комнате Сусанны. «Надо покончить, однако, с этой дурой», — подумала она.

Та, облекшись снова в свой розовый фуляр с кружевами, нетерпеливо ходила по комнате, поджидая мать.

Марья Львовна, войдя, опустилась в кресло.

— Итак, ты говоришь, что спустила все шесть тысяч.

— Да, тамап, — робко ответила Сусанна.

«Опять сначала!.. — Она думала, что уже вопрос исчерпан, и мать приступит прямо в делу. — Нет, опять вопросы!»

— И как это тебя угораздило?

На языке Сусанны вертелся желчный упрек: «А как же вас, во время оно, угораздило спустить миллион?..» — Но она сдержалась.

— Что делать, тамап, увлеклась.

Мать сердито метнула в ее сторону глазами.

— Делать нечего, — придется раскошелиться.

— О, тамап, вы были так добры — вы обе-

щали...

— От слова не отказываюсь, но прошу помнить, что больше в этом году не дам ни копейки... pas un son![22]

«Ах, противная! ах, старая!.. — бесилась Сусанна. — Каков тон!»

— Матап, это большое несчастье — просить у вас денег сверх положенного, — но, уверяю вас, больше не повторится, — произнесла она с некоторым достоинством.- Je suis bien malheureuse moi-même...[23]

— Ну, ладно. Так я тебе дам сейчас чек на три тысячи...

Глаза Сусанны стали совсем круглыми от испуга. Марья Львовна усмехнулась.

— Не бойся — это пока. Получишь в Crédit Lyonnais[24] здесь в Женеве, а остальные, когда приеду в Россию, переведу тебе в Париж или туда, где ты будешь обретаться, сейчас же... Или, впрочем, нет — бери, на все шесть тысяч и отстань.

Марья Львовна подписала чек и передала дочери. У Сусанны отлегло от сердца, и захотелось ей, в припадке веселости, пооткровенничать, похвастаться, позлить матап. Она

была уверена, что и по сей день вызывала в матери былые завистливые чувства.

— Мерсі, та bonne maman![25]- бросилась она в матери на шею и села рядом, взяв старуху за руку.

— Я вас люблю, маман, и мне так больно, больно, что вы... вы ненавидите меня...

— Совсем нет, — ответила Марья Львовна, глядя в сторону. — Но как-то так сложилась жизнь...

— А у меня всегда, всегда влечение к вам и мне всегда хочется поговорить, посоветоваться с вами в трудные и радостные минуты жизни, как теперь.

— Что же, я не прочь помочь советом — говори.

— Маман... та bonne... J'aime!..[26]

Марью Львовну покорило от этого признания. Сусанна вскочила и стала во весь рост перед старухой, точно актриса, которой стоя удобнее говорить монолог.

— Вы знаете, маман, когда я вышла замуж, j'étais trop jeune pour comprendre la vie... [27] Мой муж, — она презрительно повела плечами, — pour une jeune fille[28] совсем был

неподходящая пара... même j'étais vierge longtemps, parole d'honneur![29]- прибавила она таинственно, — но он был рыцарь, это правда, он дал мне полную свободу: nous étions connue des amis[30] и... появление Ненси на свет — какой-то странный, слепой случай. Право!

— Ты спрашиваешь моего совета и перебираешь какие-то старинные истории, — нетерпеливо заметила Марья Львовна. — Если ты хочешь сказать мне что-нибудь о тайне рождения Ненси, то мне все равно, кто был ее отцом; quand même[31] — она мне внучка, и я ее люблю!..

— О, нет, нет, нет, maman! C'est sûr[32], она — его дочь. Как раз это совпало с тем временем, quand j'étais toute seule...[33] Но видите, к чему я это все говорю: я хочу развить последовательно... Вы знаете, maman, — произнесла она с хвастливо-циничной улыбкой, — qu'on m'aimait beaucoup, beaucoup...[34] и это ни для кого не секрет, напротив, c'est mon orgueil!..[35] «L'amore e vita»!..[36] О, это чудное итальянское изречение!.. Des romans tristes[37] — я их не знала. Как только я виде-

да, что дело идет к концу — я забастовывала первая, имея всегда в резерве un nouveau[38] ... О, мужчины — ce sont des canailles![39] Их надо бить их же оружием, всегда наносить удар первой... Не правда ли, маман?

Она засмеялась звонко и резко, развеселившись сама не на шутку от этих воспоминаний.

— Но сейчас, сейчас, маман! — спохватилась она, заметив скучающее выражение на лице старухи. — То, что я хочу вам рассказать теперь, это — совсем другое. Вы понимаете, маман: когда возле глаз собираются лапки и на голове нет-нет да промелькнет седой волос... О, маман!.. — она вздохнула — наступают для женщины тяжелая, переходная пора. Что делать, надо ее пережить. Но если здорово, без предрассудков смотреть на вещи, — можно и эту пору прожить превесело!.. — Сусанна подмигнула как-то лукаво глазом и продолжила тем же цинично-откровенным тоном. — Искали нас, и мы должны искать; платили нам — и мы должны платить! И это даже справедливо: перемена декорации, а сущность та же. Не правда ли?

На лице Марьи Львовны выразилось глубокое презрение. Это подзадорило еще больше Сусанну в ее излияниях.

Она бросилась на мягкое кресло, откинув назад голову:

— И вот, тамап, теперь j'aime[40] как никогда! Он юн, — ему всего двадцать лет — mais il comprend l'amour[41], как самый опытный старик... Он строен, гибок — это Аполлон, и он... il m'aime!..[42] О, тамап, — потянулась она с нескрываемым сладострастием: — à certain âge, c'est si agréable![43]

— Развратница!.. — с зловецим шипением вырвалось из уст Марьи Львовны.

Сусанна не смутилась. Она повернула в матери насмешливое лицо и, усмехаясь, спросила:

— А вы, тамап?

Марья Львовна встала негодующая и злобная.

— Ты... ты не смеешь так говорить со мной!.. Развратница! Развратница!.. Ты была там служанкой, где я царила!.. Ты в сорок лет дошла до унижения платить ее ласки какому-то проходимцу, — моих же добивались, а я

в сорок лет, как в двадцать, была богиней!.. Меня искали, я снисходила, давая счастье; а когда пришла пора — ушла сама с арены, где царила полновластно; а ты...

Марья Львовна махнула презрительно рукой и, не договорив фразы, вышла из комнаты. Проходя мимо Ненси, она остановилась в раздумье над разнежившейся в постели девочкой... А Ненси мнились рыцари, трубадуры, дамы в пышных нарядах, Мария-Антуанетта, какую она изображена на портрете в Версале, и, зачем-то, тут же затесался художник-француз, дававший Ненси уроки в Париже. Ненси, помня наставления бабушки о преимуществе положения женщины, что-то приказывала французу, а он не слушался; это огорчало Ненси, и сон ее был тревожен. Она сбросила одеяло, разметавшись на постели. Бабушка, прежде чем прикрыть ее, остановилась в раздумье над изящной, тонкой фигуркой с точно изваянными ножками.

— Психея... совершенная Психея!.. О, что-то ждет ее в жизни?..

Марье Львовне вдруг пришло в голову, что эта Психея также в сорок лет станет «искать»

и «покупать», как та презренная, что говорила сейчас. Она вся вздрогнула от негодования.

— О, нет! Она будет царицей и только царицей! На что же я подле нее?

Старуха бережно покрыла девочку одеялом и осенила крестом.

— Спи, крошка, спи, Христос с тобою!

IV.

Уже неделя, как Марья Львовна и Ненси — в деревне. Ненси скучает, а потому решили, посоветовавшись с доктором, провести зиму снова за границей. У Ненси не остыла страсть к рисованию, и она думает возобновить свои уроки живописи у парижской знаменитости. А здесь Ненси скучно, «ужасно скучно», и бабушка не знает, как и чем занять ее. Как-то утром, от нечего делать, бродя по пустынным комнатам большого старинного дома, Ненси забрела в библиотеку, где отыскала несколько интересных исторических книг на французском языке. Историю Ненси любила, и теперь у нее было занятие — по утрам она могла читать, но остальное время дня, по прежнему, тянулось скучно и однообразно.

— О, нет, пусть лучше меньше пользы для моего здоровья, но в Париж! в Париж!.. — твердила Ненси. — Тут даже и природы нет разнообразной — все луга, луга да лес... Ни холмика, ни горки...

Однажды вечером бабушка велела зало-

жить кабриолет.

— Поедем покататься, Ненси.

— Отлично! Отчего тебе давно это в голову не пришло? Я буду сама править.

— Ну, хорошо, но грума мы все-таки возьмем.

Ненси быстро убежала и почти тотчас же вернулась, одетая в шляпку и толстые перчатки, вся пунцовая от нетерпения.

— Что уже, скоро?

— Да сейчас, сейчас!

Кучер Вавила, жирный, обленившийся старик, смотрел, однако, по-видимому, на дело несколько иначе и совсем не торопился, несмотря на слезные просьбы мальчика-грума, который, желая изо всех сил угодить барышне, молил его запрягать как можно скорее.

— Постой... постой, — медленно приговаривал Вавила, — не егози... Что поспешишь — людей насмешишь!..

— Вавила... — раздался, наконец, у конюшних нетерпеливый голос Ненси. — Я приду, право, сама помогать!

Вавила усмехнулся себе в бороду и пока-

чал головой.

— Ишь ты, какая прыткая, что твой грендер!.. Шустро-больно — поспеешь... Сей-ча-с, барышня! — протянул он, закидывая чересседельник.

Наконец запряжка была кончена, и кабриолет подкатил в крыльцу.

— Лошадь смирная? — спросила опасливо Марья Львовна.

— И-и-и... овца!.. — отвечал Вавила.

Ненси вскочила и ловко взялась за возжи. Бабушка уселась рядом, а сзади поместился грум, сын заведующего молочным хозяйством, черноглазый расторопный подросток Васютка. Он был грамотный, отлично учился в школе и, услышав о приезде господ, сам побежал к управляющему просить, чтобы его сделали грумом.

Лошадь, потряхивая ушами, резво бежала по проселочной, хорошо накатанной дороге. Вправо и влево потянулись луга, с разбросанными кое-где деревьями: там стройный, высокий дуб стоит одиноко, подняв горделиво свою кудрявую голову; здесь, в стороне от него, близко лепясь одна в другой, молодые

березки скучились небольшой рощицей и между ними завязалась злосчастная осинка, с вечно трепещущими, не знающими покоя листьями. За лугами пошли вспаханные поля. Какой-то запоздалый мужик, почти у самой дороги, допахивал на бурой, тощей клячонке свою полосу, спеша окончить долгий рабочий день. Навстречу кабриолету, поднимая целую тучу пыли, шла домой с поля скотина; пастух с длинным-предлинным кнутом и двое босых мальчишек-подпасков, перебегая с места на место, подгоняли отстававших коров и овец. Большая, косматая овчарка, как бы с сознанием серьезности возложенной на нее обязанности, важно выступала впереди стада.

Ненси опустила возжи, и лошадь пошла шагом. Проезжали мимо небольшой усадебки, стоящей на границе бабушкина имения.

Новый, в русском стиле, с резным крыльцом и таким же балкончиком, дом приютился под сенью темных развесистых лип и зеленых кленов. Перед домом, на небольшом открытом лужке разбита круглая пестрая клумба, с очень искусным подбором цветов. Дверь

на балкон, откуда спускалась лестница в сад, была раскрыта настежь. Тихие, меланхолические звуки Шопеновского ноктюрна неслись оттуда и как бы замирали, дрожа и плача в окрестном воздухе. Кто-то играл не столько искусно, сколько увлекательно. Чья-то душа изливалась в звуках. Под пальцами играющего они пели, рыдали, они говорили.

«Nocturne» был кончен. И вот, то требуя и угрожая, то плача и изнемогая, понеслись могучие вопли Бетховенской сонаты «Pathétique»[44]. Таинственный некто играл удивительно, с поразительной силой, передавая муки великого духа, томящегося бытием.

Как очарованные сидели в своем кабриолете бабушка и Ненси, сдерживая дыхание, боясь пошевелинуться.

Рояль замолк, но через минуту он зазвучал новой, на этот раз бесконечно грустной мелодией. То было «Wagum?»[45] Шумана. Томящие звуки неотступной мольбы лились тоскливо-тревожно. Они нарастали больше и больше, а все та же неизменная музыкальная фраза настойчиво повторяла тяжелый, неразрешимый вопрос... Напрасно все!.. Как он

устал, как изнемог он, в тщетных поисках — истерзанный творец, он гаснет, умирая. И вопль последнего, предсмертного «Wagum?» хватает за душу и рвет на части сердце.

— Как хорошо!.. — тихо прошептала Ненси, когда замерла последняя нота.

— Поедем. Неловко, могут заметить, — убеждала бабушка.

— Ах, нет, мы должны послушать еще!

Но слушать больше было нечего. Артист кончил. Ненси подождала с минуту, потом, вздохнув, тронула лошадь, но поехала шагом, все еще надеясь, что волшебные звуки опять раздадутся из уютного деревянного домика.

— Как хорошо!.. Кто там живет и кто так очаровательно играл?

— Барчонок... — предупредительно откликнулся Васютка.

Ненси обернулась.

— Какой барчонок? Неужели он маленький?

— Нет, какой маленький, — фыркнул Васютка, — длиннейший. А только он молодой совсем еще... В гимназию вот только перестал ходить.

— А!.. да, я теперь припоминаю: это вдова с сыном. Она недавно, лет пять тому назад, купила эту усадьбу. Я как-то видела ее один раз в церкви, — сказала Марья Львовна.

— Ах, бабушка, голубушка, — засуетилась Ненси, — позови их к нам! Он будет играть нам, играть много-много, сколько захотим.

— Полно, дитя! Ну, как же я позову? Мы незнакомы.

— Ну, милая... ну, ради Бога!.. Напиши записку — они и приедут... Ну, я хочу! — капризно настаивала Ненси.

— Нет, этого нельзя. Может быть, представится случай, тогда — другое дело.

Ненси нетерпеливо дернула лошадь, и она побежала рысью. Дорога пошла хуже; кабриолет, поминутно, то подбрасывало на кочках, то совсем накренивало на бок, на глубоких неровных колеях.

Ненси не обращала ни малейшего внимания на это обстоятельство. Понукая и торопя лошадь, она ехала, не разбирая дороги, сердитая и мрачная.

— Ненси, — взмолилась наконец Марья Львовна. — Ты с ума сошла... Да пожалей ме-

ня!.. Едем назад!

Ненси молча повернула лошадь и поехала шагом. Бабушка чувствовала себя виноватой перед своей любимицей.

— Ненси, успокойся. Я как-нибудь устрою. Раз ты хочешь — конечно, я сделаю...

Личико Ненси моментально озарилось беззаботной улыбкой. Она чмокнула старуху в щеку.

— Бабушка, как это будет весело!.. Он будем играть много, много...

Когда кабриолет снова поравнялся с домиком, дверь балкона оказалась закрытой; но ее большие, широкие стекла позволяли видеть уютную комнату, освещенную лампой с красивым абажуром, и сидящих у стола: пожилую, благообразной наружности женщину, с работой в руках, и бледного, худощавого юношу, наклонившегося над книгой.

— Вот это верно он — наш музыкант, — шепнула Ненси. — Посмотри, это и есть барчонок? — спросила она Васютку.

— Они... они... он самый! — почему-то ужасно обрадовавшись, Васютка привстал даже на своем сиденье, заглядывая в стеклян-

ные двери балкона.

С этого вечера Ненси не переставала надеяться бабушке относительно данного ей обещания. Старуха не знала, как быть? Ехать самой она считала неловким и для себя унижительным. Одна оставалась надежда — встретиться в церкви, находившейся в имении Марьи Львовны, куда съезжались в обедне все более или менее богомольные соседи-помещики. Хотя пришлось бы идти на знакомство первой и в этом случае, но церковь как-то примиряла с этою мыслью Марью Львовну. В церкви все-таки будто не так неловко; тем более, что церковь принадлежала ей.

Но судьбе было угодно распорядиться иначе, и желанию Ненси суждено было исполниться совсем не по плану, намеченному бабушкой.

V.

В один из жарких августовских дней, — таких, когда солнце печет, как будто предупреждая, что это его последние греющие землю лучи, перед долгой разлукой его горячие прощальные поцелуи, — бабушка была занята расчетами и хозяйственными соображениями, а Ненси, захватив книгу, которую никак не могла одолеть, отправилась в лес искать красивого тенистого уголка, где можно было бы, усевшись под деревом, почитать и пометать. Бродя в раздумье, она увидела небольшой песчаный обрыв, усеянный кустарником и молодым ивняком; на дне обрыва лежали большие серые камни, а возле них протекал ручей.

— Вот здесь усядусь, — подумала Ненси, наметив самый большой камень у ручья, и стала уже спускаться, как вдруг остановилась. На одном из уступов обрыва, совершенно закрытом зеленью, лежал он — бледный, худощавый юноша-музыкант — и что-то торпливо писал на небольших длинных листках нотной бумаги.

Ненси овладело детское, шаловливое чувство: она тихо, бесшумно подкралась к пишущему.

— Что вы тут делаете? — окликнула она его с звонким смехом. — Забрались в чащу, и думаете, что вас никто не видит... А вот я и увидела!

Юноша вздрогнул, инстинктивным движением рук прикрыл листки бумаги и, увидев перед собою озаренную солнцем прелестную фигурку хорошенькой девушки, с длинными, ниспадавшими по плечам золотистыми волосами — покраснел и растерялся. Ненси стало от этого еще смешнее: ее забавлял растерянный, сконфуженный вид знакомого незнакомца.

— Позвольте представиться — я ваша поклонница. Ведь вы артист, а я... ваша поклонница.

Юноша встал, хотел поклониться, но в это время листки нот от его движения рассыпались и полетели, один догоняя другого, вниз, к ручью. Юноша что-то пробормотал и бросился за ними вдогонку; но Ненси опередила его и, покрасневшая, слегка запыхавшаяся,

передала ему листки, когда он достиг ручья.

— Благодарю вас... благодарю... — лепетал он, неловко кланяясь.

Высокого роста и худой, он был угловат в движениях.

— Сядемте вон на тот камень, — пригласила его Ненси. — Я к нему и подбиралась.

Когда они уселись, Ненси с любопытством окинула взглядом все еще сконфуженного, не знавшего куда, девать свои руки молодого человека, и лицо его ей очень понравилось. Оно было правильной овальной формы, с тонко-очерченными носом и ртом, с близорукими большими темно-серыми выразительными глазами и высоким, необыкновенной белизны, прекрасным лбом, с сильно развитыми на нем выпуклостями поверх густо-соболиных бровей. Руки его были несколько велики и некрасивы, но Ненси вспомнила, что это руки музыканта, и простила им их некрасивость.

— Как ваша фамилия? — спросила она юношу.

— Мирволин.

— А моя — Войновская; видите, как смеш-

но: война и мир. А как вас зовут?

— Юрий.

— А меня Ненси... т.-е. не Ненси — Елена, но я так уж привыкла, и Ненси красивее... А как ваше отчество?

— Николаич.

— А мое — Сократовна. Видите, как уморительно: Ненси Сократовна... Но вы меня зовите просто — Ненси... так все меня зовут. Вам сколько лет?

— Девятнадцать.

— А мне чуть-чуть что не шестнадцать... Вот будет через две недели... Тогда я буду уж Сократовна, а не просто Ненси... А вы что делали сейчас?..

Юрий вспыхнул и ничего не ответил.

— Нет, вы признайтесь мне, не бойтесь... Я никому, никому не скажу.

— Я... я писал... сочинял, — ответил он, запнувшись.

— Ах, вы и сочиняете... Вот вы какой талант!.. И у вас больше к чему влечение: к грустному или к веселому?

— Т.-е., как это?

— Ну, что вы больше любите?.. Вот я — я

больше люблю грустное, и даже когда вокруг весело — мне делается часто грустно... А вы — вы любите веселое?

— Нет, тоже больше, пожалуй, грустное... в поэзии; а в музыке я люблю все.

— Вот, когда вы играли... Ах, как вы играли!.. Я никогда не забуду... Мы ехали мимо — я остановила кабриолёт, и мы все время стояли, пока вы играли...

Юрий зарделся.

— О, Боже мой, зачем? Если бы я знал, я ни за что не стал бы играть.

— И очень глупо! — наставительно произнесла Ненси. — А если бы у меня был талант, я поставила бы рояль на площади самого большого города и стала бы играть... Со всего мира приходили бы толпы народа, чтобы слушать меня и наслаждаться.

— Но я еще не музыкант! — глубоко вздохнул Юрий, — и чтобы играть, по настоящему, я должен еще много, много учиться.

— Послушайте... знаете что? Пойдемте сейчас к нам. Вы будете мне играть... все... как тогда... Шопена и Бетховена, и «Wagum»... Ах, этот чудный «Wagum»!

— А вы любите и знаете музыку? — оживился Юрий.

— Да, я училась и знаю, но я сама играю плохо, — небрежно ответила Неиси. — Но не в этом дело... Пойдемте сейчас к нам!

— Нет, как же это... вдруг... Не знаю, право...

— О, да какой же вы трус!.. Пойдемте!.. Ведь мы живем только вдвоем — бабушка и я... Меня вы, верно, не боитесь, — лукаво усмехнулась она, — а бабушка...

— Вот ваша бабушка... Она скажет... Неловко... я не знаком.

— Бабушка моя предобрая. Я очень люблю мою бабушку. Что я хочу — то и она хочет; что я люблю — то и она любит... У нас есть старуха, скотница... Она мне попробовала было рассказывать, что бабушка прежде была злая, но я велела ей сейчас же замолчать... И не поверю никогда!.. Кто любит музыку, картины и цветы, как бабушка — не может быть злым... Это неправда!

Юрий слушал с восторгом ее мелодичский, юный голосок. Эта девочка с золотистыми волосами, говорящая так горячо, так про-

сто, смелая, наивная и прелестная, казалась его восторженной душе каким-то чудным видением, лесной, явившейся ему в солнечных лучах феей.

Не прошло минуты, и он уже следовал за ней по направлению в усадьбе.

Бабушка покончила со счетами и ожидала Ненси к завтраку, в большой прохладной столовой. Несмотря на то, что их было всего две — стол сервировался очень парадно и им прислуживали два лакея в белых перчатках. Один из них старик — еще из бывших дворовых, другой — молодой, выписанный, по случаю приезда барыни, из города.

Ненси ввела Юрия за руку, почти силой. Он не ожидал, что попадет в такие хоромы, и чувствовал себя крайне неловко.

— Бабушка! я привела гостя, — кричала Ненси. — Прошу любить и жаловать... А это — моя бабушка, — обратилась она к молодому человеку. — Тоже ваша поклонница, как и я...

— Прошу садиться! — проговорила Марья Львовна, желая ободрить сконфуженного юношу. — Позавтракайте с нами... Дмитрий, — еще прибор!

— Я... очень благодарен... я... я завтракал.

— Ничего. В деревне можно, говорят, и завтракать, и обедать по два раза, — любезно улыбнулась Марья Львовна.

Юрий сел, проклиная свою глупую уступчивость настояниям Ненси.

Лакеи подавали чопорно, чуть что не сердито. Юрий задел ложкой за соусник, и тот едва не полетел на пол. Руки у Юрия дрожали, он готов был провалиться.

— Ничего, — успокоивала его Марья Львовна, — это случается. Нужно ближе подавать, — заметила она лакею, который, чувствуя себя вполне правым, только презрительно повел плечом.

Ненси было и жалко бедного музыканта, и она кусала себе губы, чтобы не расхохотаться над его смущением и неловкостью. «Что он дикий, что ли, совсем?» — думала она, наблюдая за ним.

Наконец, несносный для Юрия завтрак окончился. Перешли в большой зал, с старинной мебелью, украшенной бронзой и великолепным новым роялем по середине. Ненси приступила прямо к цели.

— Ну, конфузливый господин, садитесь и играйте, а мы с бабушкой сядем вон там и зажмури́м глаза... Вы знаете: когда зажмуришь глаза и слушаешь музыку, уносишься далеко-далеко, в заоблачные края...

Юрий чувствовал, что положительно не может играть, — до того ему, всегда свободно отдающемуся любимому занятию, было странно и непривычно положение, в которое он попал. Он стоял в нерешимости и имел самый жалкий и убитый вид.

Ненси готова была рассердиться от досады, глядя на него.

— Ну, что же, мы вас ждем!.. — подошла она к нему. — Прикажете раскрыть рояль?..

Она направилась в роялю, а он пошел за ней, точно подчиняясь тяжелой, неизбежной необходимости, и, сев в роялю, поднял на нее чуть не с мольбой свои большие, ясные глаза:

— Я... ничего не могу играть сегодня, — проговорил он с трудом. — Сыграю, может быть, романс Рубинштейна — и больше ничего.

На этот раз, несмотря на непреклонность своего, наконец, исполнившегося желания, и

Ненси почувствовала, что надо покориться.

— Ну, хорошо, — сказала она кротко, с грустью, и пошла к бабушке, сидевшей на диване.

Юрий заиграл. Играл он бегло и с оттенками, но то нечто, что заставляло его самого забывать весь мир и воплощаться в звуках, то нечто, что уносило его на небо и заставляло сладко замирать сердце — отсутствовало. Лицо Юрия выражало крайнее напряжение, вокруг губ легла глубокая скорбная складка.

«Так хорошо было тогда и так обыкновенно теперь! — досадовала про себя Ненси. — Как я глупо сделала, что упросила его играть!»

Юрий встал.

— Вот видите, — сказал он мрачно, нервно-звонящим голосом, — я говорил — не могу... Ну, просто, — не могу... Когда свободно, когда спускается вечер, когда особенное что-то повеет в воздухе — душа требует звуков сама, тогда — я могу... Ну, а теперь... Нет, зачем вы заставили меня?!.. — с нескрываемым горьким упреком вырвалось у него...

— О, что вы!.. — вступилась Марья Львов-

на. — Вы очень, очень мило играли... Но вы правы: нужно настроение... Однако ничего, — прибавила она ободряющим тоном: — когда-нибудь мы вас послушаем «в ударе».

— Прощайте! — неожиданно и печально произнес Юрий.

— Передайте мой привет вашей маме и попросите ее, без церемоний, по-деревенски, к нам. Ведь мы соседи...

Марья Львовна любезно протянула руку Юрию. Ненси молча кивнула ему головой, и когда он ушел, побежала в себе в комнату и, отчего, сама не зная, — горько заплакала. Она не хотела, чтобы бабушка видела ее слезы, и потому вышла через балкон в сад, оттуда в небольшую рощу и вернулась только к обеду, уже без малейших следов волнения.

— Он очень милый мальчик, — заметила бабушка. — Немножко мало воспитан, не умеет держаться... *manque d'éducation*[46]... Но он красив... в нем что-то есть...

— О, нет!.. Я на него зла!.. — как-то особенно горячо заговорила Ненси. — Зачем он так обманул меня... зачем?..

Бабушка посмотрела на нее с изумлением:

— Как обманул?

— Да, обманул!.. Я думала — он гений... музыкант... а он, а он просто — длинный, скверный, некрасивый мальчишка... верзила!

Ненси не выдержала и разразилась детскими, неудержимыми слезами.

Марья Львовна захохотала.

— Ну, поди сюда, глупенькая!.. — она при-тянула в себе Ненси и посадила на колени. — Ну, успокойся! — продолжала она, смеясь. — Мы его снова сделаем гением — вот увидишь!

Ненси вдруг самой стало смешно своих слез, и она засмеялась вместе с бабушкой.

— А вот нервы твои меня беспокоят. Il faut partir absolument[47], — дай только мне справиться с делами.

В этом имении сосредоточивалось главное богатство Марьи Львовны, и потому она, лишь от времени до времени, наезжая в другие, неизбежно посещала его каждый год, хотя ненадолго. Сюда же ей присылались и все отчеты по остальным имениям, и Марья Львовна то разбиралась сама в толстых приходо-расходных книгах, то уходила, для важных совещаний, в кабинет с своим управляю-

цим, ученым агрономом Адольфом Карловичем. Совещания часто получали довольно бурный характер: путешествуя постоянно по Европе, Марья Львовна стремилась в новаторству; Адольф же Карлович, будучи ярим консерватором, отвергал в хозяйстве всякие пробы и нововведения. Впрочем, после горячих прений, победа оставалась всегда на стороне осторожного немца, вручавшего владелице ежегодно очень крупные денежные суммы.

Это было единственное время в жизни Марьи Львовны, когда голову ее занимали иные мысли и планы, кроме Ненси.

На следующее утро, после описанного дня, совершив обычные церемонии по туалету Ненси, бабушка тотчас же послала за управляющим.

«Надо скорее уезжать. Здоровье здоровьем, но бедная девочка уже жаждет общества... Elle a seize ans...[48] почти... Требование молодости и жизни»...

— Крошка, что ты будешь делать, пока я займусь делами?

— Я буду читать, бабушка.

— Ну, хорошо; а после мы придумаем что-

нибудь повеселее. У меня есть несколько мыслей касательно будущих твоих туалетов — это важный вопрос, — и мы займемся им теперь, на свободе.

Бабушка ушла. Ненси вдруг почувствовала какое-то странное беспокойство. Она уселась на балкон, взяла книгу. «Нет, — не то»!.. Подумав, она прошла в сад и забралась в свой любимый старинный бельведер, с круглыми белыми колоннами, построенный на искусственно, для этой цели, сооруженной горе. Она смотрела на подножия колонн, покрытые зеленой застарелой плесенью, на капители их, где прилепились гнезда юрких, непоседливых ласточек; смотрела на извилистые, запущенные дорожки сада, на пруды с зелеными островками и полуразрушенными от времени замысловатыми мостиками.

Немец-управляющий, сосредоточив все свое внимание на существенные стороны доходов, старался как можно больше выжимать из имения на пользу помещицы (причем не забывал, конечно, и себя), а сад, как излишняя роскошь, с его загадочным прошлым, с его тайнами прежних обитателей, глож с каж-

дым днем и умирал. Лишь по вечерам, когда темнота окутывала деревья и ветер шевелил их макушками, вековые липы, казалось, шептались друг другу о давно прошедших, забытых временах... Чего-чего не видал, не подслушал старый сад: робкие грезы юной девушки, мечтательно глядящей на луну, пламенные клятвы, сладость первого поцелуя жены, изменившей мужу, циничный разврат помещика, совершающего грубое насилие в какой-нибудь уединенной беседке над крепостной девушкой, ее слезы... проклятия... Все это видел и слышал старый сад... И вековые липы, колеблемые ветром, таинственно, как с сокрушением, покачивали своими зелеными головами...

Но Ненси была далека от таких мыслей. Когда она родилась, рассказы о прежней далекой старине, о житье ее дедов, стали забытыми сказками; а из того, что она слышала от бабушки, она могла вывести только одно заключение — что это было очень-очень веселое и поэтическое житье, когда молодые девушки умели быть по истине прелестными, а молодые люди умели жить и веселиться. И теперь, сидя здесь — на вершине искусствен-

ной горки, она живо представляла себе, как в этом самом бельведере с позеленелыми от времени колоннами гремел когда-то оркестр, а по иллюминированным расчищенным аллеям гуляли парами очаровательные, прекрасные бабушки, любезно улыбаясь не менее очаровательным и элегантным молодым людям. Но чувство непонятного, странного беспокойства овладело ею сегодня — она не могла ни читать, ни думать. Она встала и пошла, не зная куда, зачем? — Она шла машинально, как бы в глубокой задумчивости, хотя в сущности ни о чем решительно не думая, подчиняясь точно какой-то внешней силе, толкающей ее вперед. И каково же было ее удивление, когда она, незаметно для себя самой, очутилась как раз над тем самым обрывом, у ручья, где встретилась вчера с бледным молодым человеком, сосредоточенно записывавшим плоды своего юного творчества. Вдруг удивление ее перешло чуть не в испуг, когда она увидела на том же самом месте, как и вчера, его фигуру. Он не писал сегодня — он полулежал, опершись на локоть и устремив пристальный, нетерпеливый взгляд как раз

туда, откуда появилась Ненси.

Когда из чащи показалась ее стройная фигурка и, увидав его, остановилась в нерешительности и недоумении, он стремительно вскочил с места и поспешно пошел к ней на встречу.

— А я вас ждал, — произнес он торопливо. — Мне что-то говорило, что я вас опять увижу здесь...

На этот раз он казался гораздо смелее, тогда как Ненси, наоборот, чувствовала себя сконфуженной и точно связанной.

— Пойдемте на наш камешек, — сказал он ласково.

Глаза его светились искренней, неподдельной радостью.

— Пойдемте.

Пока они спускались к ручью, на Ненси несколько раз находило желание убежать и скрыться там, в старом саду, в любимом бельведере.

Они уселись, по вчерашнему, на серый плоский камень. В траве неутомно стрекотали кузнечики, заглушая своим треском тихое журчанье ручья, стремительной змейкой

сбегавшего по камешкам. А Ненси чудилось, что все звуки природы: и шелест листьев, и звонкое ликование насекомых, и нежная песня ручейка — все это происходит в ней самой, в ее груди, чередуясь с частыми биениями сердца.

— Ну, вот вы какая сегодня!.. — грустно сказал Юрий. — Вчера были такая веселая, а сегодня молчите.

— Я сердитая, — отрывисто произнесла Ненси.

— Вы не можете быть сердитая. Вас, верно, обидели, и вы грустная оттого.

Ненси вскинула на него глазами и точно что-то вспомнила.

— Ах, да!.. — все тем же отрывистым, мрачным тоном проговорила она, насупившись. — Правда! Это вы меня обидели, вы!

Юрий даже привскочил на месте.

— Я?.. О, Боже мой, как же я мог обидеть вас?

— Да, вы. Я даже из-за вас плакала... А бабушка мне говорила, что никогда не надо плакать из-за мужчин, а всегда они должны плакать из-за нас... А я, вот, плакала.

Юрий сидел совершенно уничтоженный и пораженный. Как мог он, как смел он обидеть эту неземную, прелестную девушку — и чем? он ломал себе голову.

— Да, вы меня обидели. Зачем вы так скверно играли вчера, — зачем?

Юрий прошептал что-то в роде извинения и весь красный, поддаваясь непосредственному влечению сердца, хотел взять ее за руку, но испугался сам этого движения и потупился.

Ненси тоже вспыхнула, зато прежняя смелость вернулась к ней опять.

— Послушайте, я вам прощаю... только на первый раз! Больше вы не должны так играть. Слышите?!. И главное, — в последний раз, перед моим отъездом в Париж, вы должны сыграть мне «Wagum» точь-в-точь как тогда играли, когда я слушала в кабриолете, а вы этого не знали, да и меня не знали... Хорошо?

Юрий вздрогнул.

— Вы разве уезжаете?.. И скоро?

— Да, в Париж. А — вы, вы любите Париж?

— Я его не знаю.

— А-а! Так вам никогда не было по настоящему весело!.. — с сожалением заключила Ненси.

— Я все мечтаю когда-нибудь, когда окончу музыкальное образование... увидеть...

— Нет, поезжайте, поезжайте как можно поскорей!.. Там так весело, так все красиво: и люди, и экипажи, и улицы!.. Чуть только наступит утро, а улицы уж полны народом и все бегут, бегут, бегут... и вас охватывает необыкновенное веселье, и вам хочется тоже вместе со всеми и за всеми бежать, бежать... Экипажи спуют, хлопают бичи, кричат разносчики... Невероятный шум, гам... Ах, как весело!

Глаза Юрия загорелись огнем любопытства.

— А исторические памятники?.. Ведь это город великих исторических переворотов... — проговорил он с тайным трепетом в груди.

— О, еще бы!.. — подхватила Ненси, сделавшись тоже серьезной.

Она почувствовала свое превосходство перед ним, по части всяких сведений, и роль ментора пришлась ей видимо по вкусу.

— Еще бы... Я все, все знаю!.. Июльская ко-

лонна[49]... Там надпись... Знаете какая?.. — и она с важностью проговорила: — «A la gloire des citoyens Français qui s'armèrent et combattirent pour la défense des libertés publiques»...[50]

— Как? как? повторите, пожалуйста! — взмолился Юрий. — Я запишу — это очень интересно.

Ненси охотно исполнила его просьбу, и Юрий аккуратно занес в свою записную книжку надпись Июльской колонны.

— A Place de la Concorde?..[51]- все более и более увлекалась Ненси. — А Тюльери?.. Лувр... Вы так и видите живыми всех этих Генрихов, Людовиков... Потом картины: Мадонна Мурильо... этот лик действительно святой... и ангелы, и воздух!.. А Версаль? Все эти залы... Прелестная Мария Антуанетта и... эти события... Там есть картина удивительная: «Dernier Appel»[52]... Что-то величественно страшное!..

Юрий смотрел на нее с восторгом. Он был серьезный юноша — много читал и много знал — но тот блеск, та свобода, с какими его юная собеседница говорила о вещах, которые

ему представлялись только в мечтах, как что-то далекое, недостижимое — совершенно подавляли его. Он чувствовал себя совсем ничтожеством перед этою, по его мнению, необыкновенного ума и образования девушкою. Он готов был расплакаться, стать ее вечным рабом.

— Ну, прощайте, — прервала свою речь Ненси, протягивая ему руку. — Меня уж, верно, ищет бабушка.

Он дрожащею рукою пожал ее маленькую, пухленькую ручку, а в выражении его больших красивых глаз, за минуту перед тем сиявших таким невыразимым счастьем, вдруг появилось что-то горькое, печальное. Их свет потух — они смотрели понуро.

От Ненси не укрылась эта перемена, и самолюбивое, тщеславное чувство приятно защекотало ее юное сердце.

— Знаете что?.. — шепотом проговорила она. — Будем каждый, каждый день встречаться здесь, и чтобы никто не знал о наших встречах, а я вам буду очень много рассказывать обо всем, что знаю.

И она, оглядываясь, побежала вверх по об-

рыву; на самом краю остановилась на минуту, обернувшись, кивнула еще раз Юрию головой и быстро скрылась в чаще леса.

Он долго, долго стоял, не отрывая глаз от того места, где скрылась Ненси, точно ожидая ее возвращения...

VI.

Так шли дни за днями, и молодые люди каждое утро, в условленный час, встречались у обрыва, а всегда чуткая Марья Львовна на этот раз оказалась совсем близорукой по отношению к совершавшимся возле нее событиям. Да и немудрено: она была слишком далека от мысли, чтобы этот долговязый, мало воспитанный мальчик мог играть хотя какую-нибудь роль в жизни ее прелестной Ненси.

Прошла неделя. Наступил день рождения Ненси, и через три дня был назначен отъезд. Бабушка выписала из Петербурга для подарка внучке прелестный браслет с шестнадцатью бриллиантами. Едва Ненси, проснувшись, открыла свои заспанные глазки, взгляд ее упал на чудную вещицу. Нежный блеск бриллиантов необыкновенно гармонировал с бледно-голубым бархатом футляра. Золото было не видно — одни камни, как лучезарные капли росы, полукругом тянулись по бархату.

Ненси вскрикнула от восторга. На ее крик сейчас же появилась бабушка, ожидавшая с

нетерпением пробуждения новорожденной.

— Ну, Ненси, — поздравляю!.. — с некоторой торжественностью произнесла Марья Львовна. — Вот ты и *jeune demoiselle*[53]!

Ненси не знала, что ей делать: она-то бросалась целовать бабушку, то хваталась за браслет и откинувшись, на подушки, держала его перед восхищенными глазами.

— Ну, дай его мне и будем вставать.

Когда Ненси уже была в белом, с валансьевыми прошивками и кружевами, батистовом платье, бабушка надела браслет на ее тонкую, нежную ручку.

— Это только слабая дань твоей красоте, крошка, — шепнула Марья Львовна, целуя Ненси в голову.

И Ненси вдруг стало отчего-то грустно. Ей показалось, что прошло что-то очень, очень хорошее и наступает новое, еще неизвестное и будто страшное.

— Бабушка, — робко заявила она, — а знаешь ли... мне страшно!

— Чего?

— Вот я жила-жила и вдруг... шестнадцать лет!.. Как будто жалко прошлого... Мне было

так весело, а теперь я уж большая... и страшно!

— *La vie d'une jolie femme, c'est le bonheur splendide*[54], — важно и значительно произнесла бабушка. — Ты рождена для радости и счастья, и дальше будет еще лучше, чем было.

— В самом деле, бабушка?

— Да, Ненси, да! *Tu es belle, tu es riche, ma petite. C'est tout ce qu'il faut pour être heureuse.* [55] Но только нельзя подчиняться мужчинам. Ты это помни, помни всегда, *même quand tu te marieras...* И муж твой, который будет — о, в этом я уверена — *aussi beau et riche comme toi* — должен дрожать каждую минуту за свое счастье, бояться потерять тебя... Иначе конечно: тогда *les plus fidèles*[56] становятся нашими властелинами. Этого надо бояться больше всего на свете, крошка. Помни!..

— Бабушка, а очень страшно выйти замуж?

Старуха улыбнулась какой-то особенной улыбкой — мечтательной я сладкой.

— Не страшно, крошка, нет, а очень, очень приятно! — она потрепала внучку по щеке. —

О, ты еще глупенькая, глупенькая совсем!..

Ненси слегка покраснела и нагнула голову. Она вспомнила о своем милом долговязом друге и о ежедневных свиданиях с ним потихоньку от бабушки, у обрыва...

Но как же быть сегодня?.. Увидеться не придется — бабушка окончила свои дела, да и в такой день не расстанется с Ненси ни на минуту. Правда, Ненси просила Юрия придти ее поздравить, но он после своего неудачного визита ни за что не хотел показываться на глаза бабушке... А Ненси так привыкла к своим ежедневным беседам с юным музыкантом! Ей так нравилось, когда он смотрел на нее восторженными, блестящими глазами, что ей будет очень, очень скучно, если сегодня, в день своего рождения, она не увидит его.

— Бабушка, знаешь, что я тебя попрошу, — прижалась она к старухе. — Но только ты обещай заранее, что исполнишь!

— Ну, говори, малютка! Если можно — я постараюсь.

— Нет, бабушка, ты обещай!

— Ну, что же?

— Вот, бабушка, надо тебе сказать... — Ненси немножко запнулась. — Я... я... мне ужасно как хочется послушать сегодня нашего музыканта.

Старуха нахмурилась.

— Не знаю, как же быть? Я передала через него приглашение его матери, а она, по-видимому, не придала этому большого значения, — едко усмехнулась бабушка, — не идет. Не бежать, же нам самим за ними?

— Во-первых, — быстро и смущенно заговорила Ненси, — прошла только неделя; мало ли что могло ее задержать... Потом, я его как-то раз встретила, — еще поспешнее сказала Ненси, — и он признался мне, что так сконфужен своим визитом, что боится теперь придти к нам; а во-вторых, сегодня мое рождение, и мы поедем их пригласить провести вечер у нас, и чтобы он играл... Что же тут неловкого?.. Ну, бабушка... ну, голубушка!..

Аргумент: «сегодня мое рождение» окончательно победил старуху, и, скрепя сердце, она согласилась ехать к этой незнакомой «незначительной» помещице.

Подъехавший к скромному домику Мирво-

линых кабриолет, с пышно одетыми дамами, произвел переполох. Бабушка, в сером поплиновом платье и серой шляпе, а Ненси, на золотистой головке которой колыхалось целое море белых страусовых перьев, украшавших ее большую шляпу, — терпеливо ждали, пока грум Васютка справлялся, дома ли хозяева и могут ли принять.

Юрий, читавший в своей комнате, выбежал на балкон, в неуклюжей домашней блузе, растерянный и радостный.

— Ах, извините... Пожалуйста... Мама сейчас... Она занялась по хозяйству, в огороде... Она всегда сама...

Он неумело, но старательно стал помогать дамам выйти из экипажа.

— Ничего, ничего, — говорила покровительственно Марья Львовна. — Мы имеем время, чтобы подождать.

Они вошли в большую, темноватую, но очень уютную комнату, обставленную просто и красиво.

— Сейчас... сейчас!.. — и Юрий стремительно побежал за матерью.

— Мама сейчас... — объявил он, возвратясь

и усаживаясь с сияющим видом возле приехавших.

Главки Ненси лукаво поглядывали из-под широких полей ее белой шляпки.

— А мы приехали приглашать вас. Сегодня мое рождение — и вы должны доставить мне удовольствие, — бойко выпилила она. — Приезжайте к нам вечером с вашей маман.

— Я... я рад, — проговорил Юрий, захлебываясь от восторга.

«Il est drôle, cet enfant, — подумала бабушка, глядя на Юрия, — mais il sera beau, quand il deviendra homme»...

Юрий, который совсем не ожидал увидеть сегодня божественную лесную фею, был счастлив безмерно.

— Простите, что я заставила вас ждать! — раздался низкий грудной голос Натальи Федоровны, матери Юрия, вошедшей торопливою походкой в комнату. — Извините!..

Она приветливо протянула руку сначала Марье Львовне, величаво поднявшейся с кресла, и затем — Ненси.

— А... милая, прелестная барышня! Я уж слышала о вас от своего повесы... Нет, нет, —

я шучу, — поспешила она поправиться, увидя испуганные, умоляющие глаза Юрия. — Он у меня смиренный, даже чересчур смиренный мальчик... Ведь он — поэт и музыкант...

— О, как же! мы имели удовольствие слышать, — любезно вставила Марья Львовна.

Наталья Федоровна засмеялась, обнаружив свои удивительно белые, ровные зубы. Когда она улыбалась, эти блестящие зубы придавали ее немоложавому, смуглому лицу какой-то юный, бодрый вид.

— Да, да!.. Он мне рассказывал, как он осрамился тогда у вас... мой мальчик.

— Напротив, он был очень... очень мил!.. *Il est un peu...*[57] Н-но это — молодость, — заключила Марья Львовна, — *cela se passera avec le temps...*[58]

Юрий, будучи предметом разговора, чувствовал себя крайне неловко. К нему подошла Ненси.

— Смейте только сегодня не приехать — я вас уничтожу тогда! — проговорила она тихо, скороговоркой, и снова, как ни в чем не бывало, вернулась на свое место.

— Вы, кажется, недавно приобрели это

имение? — спрашивала хозяйку Марья Львовна.

— Да, это еще купил мой покойный муж, — ответила со вздохом Наталья Федоровна. — Он был большой любитель деревни и, выйдя в отставку, мечтал заняться хозяйством, да вот не пришлось. Теперь управляюсь одна...

На глазах у нее навернулись слезы.

— У вас все чрезвычайно мило, — сказала Марья Львовна, — вы можете гордиться.

— Бабушка! — многозначительно произнесла Ненси.

— Ах, да!.. Я уже просила вашего милого сына вам передать, que je serai bien contente [59], если вы просто, по-деревенски, заглянете во мне.

— Да, он мне говорил, но простите, ради Бога, не могла собраться... все дела... а я очень желала...

— Ну, так вот... сегодня, soyez si aimable[60], не откажите приехать к вам avec votre charmant enfant[61]... Он нам сыграет что-нибудь.

— Пожалуйста! — с живостью подхватила Ненси.

— Благодарю вас, — постараюсь.

Бабушка поднялась с места.

— Не стану больше вас задерживать, и весьма рада буду видеть вас сегодня у себя.

— Elle n'est pas élégante, mais très bonne femme[62], очевидно!.. — сказала Марья Львовна, когда кабриолет выехал на шоссе, по направлению в ее усадьбе.

— Ах, она прелесть какая славная! — звонко откликнулась Ненси.

— Bonne enfant![63]- произнесла растроганным голосом бабушка, взглянув на внучку.

Вечером, часов около восьми, Юрий с матерью подъехали в новеньком шарабане, запряженном сытой рыженькой лошадкой, в высокому каменному крыльцу двухэтажного Гудуровского дома.

Ненси, поджидавшая их у окна, выскочила на встречу.

— Ненси! Ненси!.. — попробовала было ее остановить бабушка.

Но Ненси была уже на крыльце, где один из важных лакеев, так смутивший Юрия при первом его визите, слегка поддерживая под локоть Наталью Федоровну, помогал ей идти

по ступенькам. Это ее донéльзя стесняло, и они постаралась почти что взбежать на крыльцо.

— Ну, вот и мы! — весело улыбнулась она Ненси.

Ненси низко присела.

— И бабушка, и я — мы ждем уже давно.

Марья Львовна, с приветливым лицом светской женщины, встретила гостей на пороге гостиной.

— Вот это весьма любезно, что вы приехали.

Все уселись; но разговор не клеился. Несмотря на всю приветливость, Марья Львовна подавляла гостью своей важностью и внушала ей даже легкий страх.

— Бабушка, можно мне показать наш сад Юрию Николаевичу? — спросила Ненси.

— Конечно, *petite!* Может быть, и вы пройдёте? — обратилась Марья Львовна к Мирволиной. — Но, впрочем, лучше посидим на балконе, пока гуляет молодежь.

Они вышли на большой балкон, колонны которого были сплошь покрыты зеленью плюща и дикого винограда.

— Как у вас хорошо! — похвалила Наталья Федоровна.

— О! но что здесь было!.. — с сожалением вздохнула Марья Львовна.- C'était splendide, quelque chose de magnifique![64] Вы знаете — в то время, когда и в деревнях умели жить по-барски!..

Ненси вела Юрия к своей излюбленной старой беседке.

— Представьте себе, что вы — прекрасный принц, а я — принцесса, — говорила Ненси.

— Зачем я буду представлять, — смеялся Юрий, — мне веселее думать: что вы — вы, а я — я.

— Нет, так лучше. Я живу вон там — видите, где этот бельведер, куда я вас теперь веду... Но это не бельведер, а пышный замок с башнями и стрельчатыми окнами. Мой отец — грозный владыка окружающих нас людей, его все боятся, я тоже боюсь... Вы — прекрасный принц. Вы меня не знаете, вы видели только издали и влюбились в меня. Наш замок неприступен, и мой отец ревниво охраняет меня. Но вы побороли все препятствия, и когда мой отец и вся стража, подкупленная ва-

ми, спали крепким сном, вы проникли в замок и похитили меня... Ах, Боже мой! Зачем мы не живем в то время, когда так много было страшного, таинственного и чудного?!

— Отчего вы не пишете стихов? — спросил Юрий. — У вас такая богатая фантазия. Я уверен, что в вас живет великая писательница!

Они взбирались на гору и подходили в бельведеру. В легкой синеве надвигавшихся сумерек великаны-деревья стояли точно заколдованные исполинские тени, среди которых белели колонны бельведера.

— Смотрите, — указала Ненси на деревья, — когда спускается ночь, мне всегда кажется, что они хотят поведать мне свои великие старые тайны... А вот и он — мой бельведер!

Когда они прошли между колоннами, — мимо Ненси, задев ее слегка крылом, бесшумно пролетела летучая мышь. Ненси вскрикнула.

— Не бойтесь — вы со мной! — шепотом и твердо произнес не без горделивого чувства Юрий.

— Вам не страшно? — тихо спросила Ненси.

си.

— О, нет!

— Вы очень храбры?

— Не знаю, но в жизни я хочу борьбы...

Он даже выпрямился и вздохнул всей грудью.

— А без борьбы — какая жизнь? — произнес он с блестящими глазами. — Бороться должен каждый, кто сознает несовершенство жизни, обман и злобу, и неправду; бороться за обиженных и защищать невинных...

— О, да, вы правы... Но это революция? — с испугом проговорила Ненси.

Юрий улыбнулся ее искренней наивности.

— Я говорю вам о борьбе, великой борьбе всего человечества за идеалы совершенства, а революция — это... это другое!..

Ненси перевесилась за балюстраду бельведера.

— Смотрите, смотрите — видите, как там темно?

Юрий тоже наклонился. У подножья горы сплошной, темной стеной высились деревья, едва покачивая своими верхушками.

— И ветер шелестит чуть слышно, едва-ед-

ва... — прибавила Ненси. — А когда я на какой-нибудь горе, мне смерть как хочется зажмуриться — вот так — и со всего размаха — вниз!

— Ой, нет! — испуганно произнес Юрий и потянул ее за платье.

Она вдруг откинулась и повернула к нему свое немного бледное от окутывавшего их полумрака лицо, с принявшими какое-то странное выражение глазами.

— Скажите — вы не забудете меня?

Он посмотрел на нее с удивлением.

— Вы знаете — я уезжаю через два дня, — произнесла она отрывисто.

Юрий хотел что-то ответить, но, вместо слов, беспомощно вздохнул и опустился на скамью. Ненси села возле него.

— Вы не забудете? — едва слышно повторила она свой вопрос.

Он сидел, опустив низко голову, и, закрыв лицо руками, слегка вздрагивал всем телом.

— Вы не забудете обрыв и камень, и что мы говорили? вы не забудете?.. Ну, поклянитесь!..

Вместо ответа, он поднял голову и с полу-

закрытыми глазами, точно боясь увидеть что-нибудь страшное, весь дрожа и изнывая, припал безмолвно к бледной ручке Ненси, лежащей на ее коленях. Ненси вздрогнула. Сладкий трепет охватил все ее существо. Она не отняла своей руки. Ей захотелось долго, долго сидеть вот так: в этой упоительной истоме, с этим блаженным трепетом и с этой радостью в груди.

Наконец, он с невероятным усилием оторвался от ее руки и голосом, полным мольбы: «Простите!» — прошептали его сухие губы. И Ненси, от восторга, готова была кричать, прыгать, плакать, смеяться... Ее руки невольно, точно сами, тянулись обнять голову Юрия... Но вдруг ей стало безумно стыдно своего состояния, словно чего-то преступного, и, не говоря ни слова, она выбежала из бельведера.

— Ау!.. — раздался уже снизу ее голос. — Идемте, Юрий Николаевич, — нас, верно, ждут пить чай.

Бабушке начинало не нравиться долгое отсутствие Ненси. Она с приветливостью любезной хозяйки угощала чаем, подаваемым важным, угрюмым лакеем, на серебряном подно-

се, свою гостью и вместе с тем озабоченно вглядывалась в темноту сада.

— А наши молодые люди загулялись.

— Пускай, — им весело: молодое с молодым, — с беззаботным добродушием откликнулась Наталья Федоровна.

— Как будто сыро, а Ненси — в одном платье, — волновалась бабушка.

— Вечер прелестный — пускай гуляют.

— Ваш сын разве не боится простуды? Он, кажется, так слаб здоровьем, — спросила Марья Львовна, не желая больше обнаруживать своего волнения перед «этой дурой», как мысленно назвала она Наталью Федоровну.

— Какая же тут может быть простуда, — спокойно отозвалась та. — Но он не очень крепок — это правда!.. — она вздохнула. — Он слишком нервен — в этом большое несчастье. А впрочем, может быть, и счастье, — прибавила она тотчас же:— это залог его таланта.

— Il est bien doué, votre fils![65]

Лицо Натальи Федоровны оживилось — коснулись ее излюбленной темы; она сразу почувствовала себя иначе, и эта важная свет-

ская дама, с которой у нее так долго не вязался разговор, стала ей даже симпатичной в эту минуту.

— Я очень счастлива, — горячо заговорила Наталья Федоровна. — Любая мать может гордиться таким сыном... И я не увлекаюсь, как все матери, — нет, не думайте... Не оттого я прихожу в восторг, что он учился превосходно, шел первым учеником, что он, может быть, гениальный музыкант... Я не знаю — но говорят: вот, я ездила с ним в Петербург — он поразил всех в консерватории, и его приняли сейчас же, бесплатно, только бы поступил... Мы и поедем к сентябрю опять... Он у меня — мальчик трудолюбивый, серьезный — я сознаю, — но не это приводит меня в восторг и заставляет чуть не молиться на него, а удивительная чистота, благородство духа, способность жертвовать собой.

«Какая странная чудачка!» — мысленно удивилась Марья Львовна.

— А вот и они — наши дети.

Станный, растерянный вид «детей» не укрылся от внимательного взгляда бабушки. Она была очень недовольна Ненси. «Que-se

qu'ils ont fait?»[66] — подозрительно думала она, но высказать свое волнение считала неприличным.

— Молодой человек!.. Может быть, чаю?.. — обратилась она в Юрию.

Тот неуклюже, боком поклонился и исчез в неосвещенной еще большой зале.

Через минуту оттуда раздались робкие и нежные отрывистые аккорды.

— Il faut de la lumière[67], — поспешно встала Марья Львовна.

— О, нет! Он любит так... Он будет сейчас играть, — остановила ее Наталья Федоровна. — Надо, чтобы не мешали...

Ненси охватило внезапное беспокойство: а вдруг эти нелепые лакеи пройдут через зал! Она встала.

— Куда же ты, Ненси?

— Сейчас приду.

Обежав вокруг дома, она прошла в буфетную.

— Ходить в зал и через него — не нужно!.. — приказала она прислуге.

— Велено ужин накрывать, — мрачно заметил старик.

— Обходите вокруг!

Она вернулась довольная своим распоряжением. Бабушка пытливо посмотрела на нее. Ненси ответила ей даже победоносным взглядом. После того, что с ней произошло сейчас в саду, она почувствовала себя совсем уже взрослой, самостоятельной, вне всякой опеки.

И загремел рояль. Он выл, стонал; казалось, все стихии мира соединились в этой буре звуков; казалось, кого-то звал на бой, на смертный бой, чей-то могучий дух, изнемогавший в оковах....

У Ненси сначала сердце сжалось, потом порывисто забилося, переполненное бессознательным горделивым чувством.

Но вот слышались томящие душу другие звуки...

— А-а... «Warum»... — Ненси вся точно замерла, вся превратилась в слух. Чем дальше нарастала мелодия, тем тревожнее и тревожнее становилось чувство. Ненси чудилось, что это не звуки рояля, не фантазия Шумана — ее собственное сердце громко и отчаянно кричит: - Warum?.. Warum?..

И едва замерла под пальцами играющего последняя музыкальная фраза — Ненси, стремительно вскочив с места, в одну минуту очутилась возле рояля.

— Ненси, да куда же ты?.. — точно сквозь сон слышала она недовольный голос бабушки.

Э, да какое дело теперь Ненси до бабушки, до всего мира! Если бы цепями связали ей руки и ноги — она порвала бы эти цепи и, поддаваясь могучему, влекущему ее неудержимо желанию, очутилась бы здесь — у рояля.

— Послушайте... Я вас люблю... и не уеду никуда, — прошептала она, задыхаясь, и, закрыв лицо руками, выбежала из залы.

А вслед за ней, после минутного молчания, понеслись бешеными скачками, точно все сокрушая на пути и ликуя свою победу, полные восторга, пламенные страстные звуки... То была молодость, встречающая свою первую любовь...

Когда юноша кончил и взволнованный поднялся с места, в комнате стояли очарованные, потрясенные, его мать, Марья Львовна и Ненси.

— Что ты играл?.. — спросила мать. — Я никогда не слышала... Что-то странное и удивительное?

— Charmant![68]- прошептала бабушка. — Что это?

— Свое, — промолвил небрежно Юрий.

Одна Ненси молчала. Одна она знала, что говорили эти странные, дивные звуки, и когда все общество вышло в столовую, где его дожидался ужин — молодые счастливицы были не в силах оторвать глаза друг от друга. Их обоюдно пожирал один огонь, ярко, неудержимым светом горевший в их чистых, прекрасных глазах...

«Que-se qu'elle a, la petite?..»[69] — снова подозрительно пронеслось в мыслях у бабушки.

А очарованная музыкой сына, Наталья Федоровна читала в глазах Ненси только дань восхищения его таланту.

По отъезде гостей, Марья Львовна вошла в комнату Ненси, разстроенная, недовольная.

— Ненси, ma chère[70], — ты себя не хорошо вела, и я хочу с тобой поговорить серьезно.

— О, я сама хочу поговорить с тобою, ба-

бушка!.. И не противоречь ты мне... не отговаривай — все будет бесполезно, все! Я люблю его, бабушка, и никуда я не поеду!.. Я выйду замуж. Это решено!

Марья Львовна даже опустила на стул от неожиданности, широко раскрыв испуганные глаза.

— Как решено?

— Да, решено... и никаких других решений быть не может!

Ужасная мысль молнией промелькнула в голове Марьи Львовны.

— Ненси... *tu dois me dire la vérité!*..[71] Слышишь — все, все, как было!

Ненси правдиво и просто рассказала историю своей короткой юной любви.

— И... и больше ничего?.. *C'est tout?*..[72]- задерживая дыхание, спросила Марья Львовна.

— Чего же больше, бабушка? *C'est tout...* — наивно ответила Ненси.

— *Pas de baisers?*[73]

Ненси вспыхнула.

— Нет!

— О, *Dieu merci!*..[74]- Бабушка перекрестилась.

— Ты, бабушка, не думай только, чтобы я перерешила!.. — серьезно проговорила Ненси.

— Он сделал тебе предложение? — уже с негодованием спросила Марья Львовна, успокоенная в своих «страшных опасениях».

— И никакого предложения... Да разве это нужно? Я люблю его, он меня любит, и мы должны жениться — это ясно.

Бабушка разсердилась.

— Совсем это не ясно. Tu est belle, riche, jeune[75], ты можешь составить счастье самого блестящего юноши, и вдруг отдать все это первому встречному мальчишке, без имени, без положения... à Dieu sait qui?!..[76]

Ненси побледнела.

— Бабушка, не оскорбляй его!.. Бабушка, не говори!.. Бабушка, я люблю его!.. — нервно вскрикнула она и топнула ногой.

Теперь, в свою очередь, побледнела Марья Львовна.

— Ненси, c'est trop![77] Ты забываешься. С кем ты говоришь?

Но Ненси уже не слушала. Она бросилась в постель и, уткнувшись в подушки, громко, неудержимо рыдала.

— Чего же ты хочешь — чтобы я умерла?.. Да, да, умерла?.. — выкрикивала она посреди рыданий. — Ты думаешь увезти меня, но это все равно... где бы я ни была... я умру... я покончу с собой... я брошусь с горы... не знаю, что я сделаю... и ты будешь моей убийцей... да, да!.. радуйся!.. ра...радуйся!

Ненси конвульсивно билась в кровати.

Марья Львовна смертельно испугалась. Она не знала, что ей делать. Она бросилась в свою спальню и дрожащими руками едва могла достать, из домашней аптечки, несколько пузырьков успокоительных капель. Она не знала, какие выбрать, и потащила все в комнату Ненси.

— Ненси! Mon enfant...[78]— говорила она, чуть не плача, протягивая Ненси рюмку с лавровишневыми каплями. — Выпей!.. Успокойся!.. Ну, ради Бога... Ну, пожалей меня!..

Ненси, всхлипывая, выпила лекарство. Бабушка нежно гладила ее спутавшиеся волосы, целовала заплаканные распухшие глазки; но в душе твердо решила не поддаваться малодушию.

— Ты успокойся, дай мне подумать... Мо-

жет быть, все устроится так, как ты хочешь...
Ляг, моя радость, — усни!

И в первый раз, с тех пор как бабушка начала культивировать ее красоту, Ненси заснула без перчаток и без всех предварительных приготовлений во сну.

VI.

Бабушка Марья Львовна провела тревожную ночь. Она ломала себе голову над решением так внезапно возникшего пред нею вопроса о замужестве Ненси.

«Но как же быть?.. С одной стороны, это — безумие, чистейшее безумие!..» Но в ушах бабушки еще слышались отчаянные крики Ненси... «*Qui sait? — avec un coeur si passionné!*[79] все может случиться — не углядишь!..» В воображении вставал образ погибшей Ненси и... бабушка — ее убийца! Марья Львовна содрогалась от ужаса... «*Elle est si malade, pauvre enfant*[80], — ее надо беречь». Марья Львовна старалась найти примирение в новом «невероятном положении вещей». Ее мысли останавливались на Юрие и его высокой, неуклюжей фигуре, робких, неловких движениях... «*Peut-être, ça passera, il est trop jeune...* Но он возмужает... *il deviendra plus fort...* он сложен недурно — *trop maigre...* voilà le défaut... Et puis: надо одеть у хорошего портного... *Il est un peu sauvage...* поездка за границу... Париж... *un bon entourage*[81] — он раз-

вернется».

Неразрешимое, таким образом, становилось разрешимым. По мере приближения утра, Марья Львовна все находила новые и новые достоинства на оборотной стороне медали. «Il est pauvre — тем лучше: он будет чувствовать себя обязанным — il sera comme esclave auprès de la femme belle et riche... Быть может, она встретит в жизни... Qui sait?.. un homme»!.. В виду этих высших соображений, Юрий представлялся Марье Львовне почти идеальным мужем... Покорный, доверчивый, недальновидный — les qualités bien désirées pour un mari!.. А что он будет именно таким — она не сомневалась... Да, наконец, теперь... l'amour des enfants pures — что может быть прелестнее? Марья Львовна находила невозможным лишать Ненси такого счастья: «И даже справедливо, чтобы первый обладатель прекрасной невинной девушки — был чистый, невинный мальчик... c'est fait!..»[82]

Утром вопрос был решен окончательно, и бабушка с достоинством объявила свое решение Ненси:

— Ненси, mon enfant, все это очень... очень

печально! Я не о том мечтала для тебя... Mais, que faire?[83]- пусть будет так, как ты того желаешь.

Ненси бросилась к ней на шею, осыпая поцелуями, и ураганом понеслась, с радостной вестью, в обрыву.

Юрий уже ждал ее. Он забрался чуть не с самого утра и сгорал от нетерпения.

— Все решено — я выхожу за вас замуж! — крикнула ему Ненси, сияющая, запыхавшаяся...

Что-то невероятное произошло в сердце юноши. Он сам не отдавал себе отчета в своем чувстве. Он благоговел, он преклонялся перед Ненси, обожал ее, готов был сложить за нее голову, но такой простой исход и на мысль ему не приходил. А теперь, вдруг, все стало ясно для него. Ну да! она — его жена! Иначе не могло быть, и не может!

Весь трепетный, стыдливо и несмело, он протянул к ней руки, а она прижалась крепко к его молодой груди.

В траве стрекотал кузнечик, ручей тихо журчал, шумели деревья... И вся природа, — свидетельница их поцелуя, — казалось, лико-

вала вместе с ними и пела им радостный гимн любви.

Они уселись на свой камень; они болтали, болтали что-то бессвязное, смеялись, беспрестанно целуясь, — опять болтали, опять целовались, опять смеялись...

— Прощай!.. — сказала, наконец, раскрасневшаяся Ненси, целуя его «в последний из последних» раз. — Сегодня вечером ты к нам придешь.

Вечером бабушка ласково встретила молодого человека и даже произнесла нечто в роде маленькой речи по поводу его будущих обязанностей относительно Ненси и серьезности предстоящего шага. Она сняла со стены старинный образ Скорбящей Божией Матери, — «*que ma chère mère m'a bénite*»[84] — и благословила, растроганная, со слезами на глазах, «*les enfants terribles et bien aimés*»[85], — как назвала она счастливую пару юнцов. А так как, по ее мнению, вопрос окончательно решен, — «то нечего делать излишних проволочек, бесполезно мучить бедных детей» — условлено было обвенчать их как можно скорее, дать насладиться семейным счастьем и

затем ехать втроем в Париж, на всю зиму.

В чаду, в угаре счастья Юрий позабыл со-
всем, что в сентябре обязан будет явиться в
консерваторию. Он сразу растерял все свои
мысли, понятия о пространстве и времени;
вера в призвание, жажда жизни — все это
странным образом спуталось, переплелось и
даже точно исчезло из памяти, заслоняемое
одним безумным, всевластным чувством. Ему
казалось, что он на все должен смотреть гла-
зами Ненси, думать ее мыслями и жить толь-
ко для нее, для нее одной! Остального не су-
ществовало больше!.. А бабушка, эта чудная
бабушка, устраивающая его счастье, была для
него теперь идеалом добра и великодушия!

В таком полуопьяненном состоянии вер-
нулся он домой.

— Мама, знаешь, я женюсь!.. — сразу объ-
явил он, распахнув настежь стеклянную
дверь балкона.

Мать, сидевшая у лампы с работой в руках,
не вдруг поняла его.

— Ну да — я женюсь!

Наталья Федоровна продолжала глядеть на
него, по прежнему, с полным недоумением:

— Ты, кажется, с ума сошел, — медленно произнесла она.

Юрий вспыхнул и рассказал ей подробности своего романа.

Пока он говорил о тайных встречах у обрыва, о своих горячих чувствах в девочке — Наталья Федоровна понимала все. Но когда вышла на сцену бабушка с своим согласием и благословением — Наталья Федоровна была просто возмущена: она прямо не могла постигнуть — как эта важная старуха, опытная и, по-видимому, рассудительная, решается венчать детей, которым нужно еще учиться и готовить себя к жизни?!

— Это невозможно! — воскликнула она с негодованием.

— Я связан словом!.. Я жить без нее не могу!.. Мне больно, что ты так странно отнеслась к моему счастью...

Губы Юрия подергивались, он был бледен, голос его звучал нервно.

Натальей Федоровной овладело отчаяние.

— Пойми ты, пойми, мой бедный, неразумный мальчик, — ведь это твоя гибель, гибель!.. Ты должен учиться, ты должен рабо-

тать, ты должен быть свободен. Пойми!.. Ведь ты погиб тогда для музыки, погиб!.. Тебе надо окрепнуть, стать на ноги — ты будешь человек, тогда женись... А это... Боже мой!.. Родной мой, ненаглядный мой, опомнись!.. Ну, ты меня... меня хоть пожалей!..

Юрий сидел мрачный, сдвинув упрямо брови и устремив глаза в одну точку. Вдруг лицо его все перекосилось, и он зарыдал глухо, беззвучно.

Мать обняла его, сама задыхаясь от слез.

— Мой дорогой... мой любимый... Ну, послушай: я помогу тебе... я увезу тебя... Перед тобой работа, перед тобой жизнь, может быть, полная славы и удач... Разве можно всем этим жертвовать ради детской минутной прихоти... Она пройдет — поверь мне — так же внезапно, как пришла... Но ты не должен больше видеться, родной мой, умоляю!.. Ты дай мне слово... Слышишь?.. Слышишь?..

Он отрицательно покачал головою.

Отчаянье Натальи Федоровны возросло. Теперь к нему примешивалось еще бессильное, горькое негодование.

— А, ты вот как!.. — сказала она с горьким

упреком. — Тебе все равно, что я тут унижаюсь перед тобою, прошу и умоляю... Ты хочешь, чтобы я поступила с тобою иначе?.. Ну, хорошо!.. Так слушай же: я запрещаю... Слышишь — запрещаю!.. Я твоя мать... Я тебя пою, кормлю, воспитываю, и не позволю, чтобы какая-то выжившая из ума старуха и взбалмошная девчонка распорядились твоей судьбой. Я не позволю!.. И если ты посмеешь идти против моей воли — ты мне не сын!

Юрий встал и, пошатываясь, вышел из комнаты.

— Одумается... Он слишком любит музыку... При том, он — нежный сын... он — умный мальчик...

Прошло две недели. Молча сходились к чаю, к обеду и ужину мать и сын, молча расходились, и каждому точно страшно было порвать это тяжелое, подневольное молчание. Подневольное потому, что, в сущности, каждому хотелось говорить, но рабы своего самолюбия или, вернее, ложного стыда — они молчали и расходились еще более угнетенными. Решимость Юрия крепла с каждым днем; всякие другие соображения меркли перед

нею, хотя он старался быть беспристрастным и рассудительным. Забывая обидную сторону разговора с матерью, он становился на ее точку зрения и взвешивал все дурное, что могло произойти от его поступка. Но тут же, как сквозь пелену тумана, глядели на него живые, повелительные глаза, и охваченный молодой безумной страстью, он забывал все остальное, кроме них.

— Жизнь за тебя!.. — И он сгорал непреодолимым желанием отдать за нее жизнь. Тогда и мать, и его личные стремления и вопросы будущности сводились в такой ничтожной величине, по сравнению с этим отважным порывом, что всякое колебание становилось невозможным. Свидания у обрыва не прекращались; юношеская робкая страсть делала еще сильнее несознаваемую жажду любви.

Дома Ненси капризничала и злилась. Бабушка, свыкшаяся с мыслью, что «сумасбродство» должно совершиться, раз этого желает ее Ненси, более всего опасалась за ее нервы и готова была всячески способствовать даже ускорению этого «сумасбродства», лишь бы Ненси была спокойна.

Однажды, шагая по отцовскому кабинету в то время, когда мать сидела за работой в гостиной, погруженная в невеселую думу, Юрий был как-то особенно мрачен. Он останавливался, точно желая что-то припомнить, нервно вздрагивал при малейшем шорохе, в глазах его то и дело вспыхивал фосфорический странный огонь; то вдруг он складывал руки крест-накрест на груди и прислонясь в стене закрывал глаза, как бы чем-то подавленный. Утром он пропал из дому, к обеду не явился. Долго дожидалась его, до поздней ночи, взволнованная, оскорбленная его выходкой мать.

Прошел второй день — то же самое. Отгоняя от себя мысль о чем-нибудь дурном, Наталья Федоровна еще тверже решила не уступать.

— Поблажит и успокоится.

С целью унять сердечную тревогу, да, может быть, и просто по женской слабости, желая найти для себя в чем-нибудь опору, она отправилась в кабинет покойного мужа, где в письменном столе хранилась ее еще девическая с ним переписка. Часто, в минуты тоски

или жизненных затруднений, она искала в этих письмах поддержки, сладкого забвения и, переносясь воспоминанием в лучшую пору своей жизни, почерпала силы и стойкость для борьбы. Дрожащей рукою, стора от нетерпения, выдвинула она незапертый ящик стола. Быстрым движением вынула бумаги и... остолбенела: тут же хранились документы Юрия — его метрика — их не было...

Через минуту на крыльце раздавался ее энергичный, нервный голос, а через полчаса плотные, откормленные лошади мчали ее в Гудауровскую усадьбу.

Марья Львовна встретила ее изысканно-любезно.

— Скажите, вы не видели моего сына? — вместо всяких приветствий, спросила взволнованно Наталья Федоровна.

— Я их отправила, милых детей... вы разве не знаете?

У Натальи Федоровны похолодело сердце.

— Куда?

— Здесь не совсем удобно — все слишком знают... Предмет ненужных разговоров... А мне устроил наш священник — отец Иван... и

а son fils pas loin d'ici[86], верст шестьдесят... Он дал письмо... У них прекрасный экипаж... при них старый лакей... Там и свидетели, и все уже улажено.

— Куда же они поехали?

Марья Львовна посмотрела с удивлением на обезумевшую и ничего не понимавшую Наталью Федоровну.

— Венчаться.

Наталья Федоровна отчаянно вскрикнула и схватилась за грудь.

— Что вы сделали!.. Боже мой, что вы сделали!..

Она искала опоры и опустилась на первый попавшийся стул.

Марья Львовна нашла всю эту сцену неприличной в высшей степени.

«Она, кажется, с ума сошла — *cette pauvre femme*[87]: прийти в чужой дом и устраивать истории»!..

— Но что вы сделали!.. Ах, что вы сделали!.. — как в бреду бормотала Наталья Федоровна, качая головой из стороны в сторону. — Боже, Боже мой!.. Горе!.. непоправимое горе!..

Марья Львовна почувствовала себя нако-

нец оскорбленной.

— Вы очень взволнованы и не можете дать отчета в своих словах, — сдержанно обратилась она в Наталье Федоровне. — Но я вас попрошу опомниться и говорить иначе.

Наталья Федоровна посмотрела на нее помутившимися глазами: «Что говорит она, эта старуха, сгубившая так подло ее сына»?

Она разжала губы, и у нее вырвался хриплый вопль:

— Вы... вы — убийца!..

— Позвольте...

— Да, убийца!.. Вы погубили все — талант и жизнь.

— Я попрошу вас говорить потише, — остановила ее Марья Львовна, вся, в свою очередь, дрожащая от негодования. — Поттише!.. Позвольте вам напомнить, что не вы, а скорее я должна была бы так кричать; но я иначе воспитана, и потому великодушно предоставляю это право вам. Ваш сын получает все — молодость, красоту, богатство, родовитое имя... Шальное счастье!.. Право, он родился в сорочке, этот мальчишка!.. А я вовсе не для того растила, холила, воспитывала внучку,

чтобы устроить ей такую незавидную судьбу... Талант?.. да, это мило и... больше ничего... Ни племени, ни роду! Артист?.. Я очень рада послушать его в своей гостиной, но... породниться? Нет, *ma foi*[88], это совсем нелепо!.. Да если бы сам Рубинштейн... сам Рубинштейн воскрес и стал просить руки моей прелестной Ненси — я бы сочла такой брак для нее унижительным. Да!.. Но, впрочем... препирательства теперь излишни — *tout est fini*[89]. Они могут приехать с минуты на минуту и мы должны их встретить весело. Позвольте, *ma chère dame*, я покажу вам все, что я могла устроить так наскоро.

Она повела едва держащуюся на ногах Наталью Федоровну в комнату, предназначенную для молодых.

Это была высокая, немного темноватая комната окнами в сад, что придавало ей особый поэтический колорит. По середине красовалась изящная, старинная, красного дерева с бронзой, широкая кровать, когда-то служившая брачным ложем для самой бабушки, Марьи Львовны. Нежный батист наволочек на подушках, тончайшие голландские простыни

и необыкновенной работы вышитое шелковое одеяло, давно приготовленное в приданое Ненси, — все было осыпано почти сплошь живыми розами всех оттенков и цветов. У изголовья колыхались две исполинские развесистые пальмы. В вазах, кувшинах и просто на полу благоухали цветы, наполняя ароматом комнату. Чтобы достать цветы, еще накануне, был послан в губернский город нарочный, опустошивший почти все оранжереи и местный ботанический сад. В имении не было ни цветов, ни оранжерей. Практичный Адольф Карлович давно их уничтожил, находя излишним занимать рабочие руки подобным вздором.

— Не правда ли, как мило? Они будут покоиться среди роз! — восхищалась своей выдумкой старуха.

Наталья Федоровна, боясь каждую минуту лишиться сознания, печальными глазами смотрела на широкую кровать, на это ложе, усыпанное розами, и оно казалось ей эшафотом для ее бедного, бедного сына.

— Позвольте мне воды! — пролепетали ее побледневшие губы.

— Ах, Боже мой, chéге, вам дурно... Пойдемте в мою спальню, — вам необходимо придти в себя.

Она увела совершенно ослабевшую Наталью Федоровну, напоила ее каплями, причесала, даже слегка напудрила, уверяя, что это необходимо, потому что у нее распухло от слез лицо.

Наталья Федоровна безвольно подчинилась — ей было все равно теперь.словно огромный, страшный камень упал на нее неожиданно и придавил ее.

Послышались отдаленные звуки колокольчика.

— Voilà nos enfants!.. Ради Бога, chéге, soyez prudente![90] Вы знаете, первое впечатление, первые минуты счастья... их омрачить нельзя.

Наталья Федоровна приободрилась. Ведь, в самом деле, что кончено, того уж не вернешь. Она пошла с Марьей Львовной в зал — встретить молодых — и даже улыбалась.

Бубенчики дрогнули у самого крыльца. В комнату вбежала вся раскрасневшаяся Ненси. За нею шел Юрий, сияющий и радостный.

Увидев мать, он вздрогнул и подался назад; но она улыбнулась, и инстинктивно он ринулся к ней, осыпая ее руки, шею, губы поцелуями..

Ненси подошла к ней смущенная и торжествующая. Наталья Федоровна от глубины своего раненного материнского сердца поцеловала ее — точно этим поцелуем внутренно передавала ту любовь, какую прелестная Ненси должна была осчастливить своего юного мужа.

В столовой выпили шампанское, и после ужина молодую чету ввели в приготовленную для нее спальню. Ненси, увидя странно декорированную комнату, всю утопающую в цветах, вскрикнула от неожиданного впечатления радости и страха, охвативших ее молодое сердце.

Бабушка перекрестила сконфуженную, трепещущую, готовую расплакаться Ненси.

Наталью Федоровну она не отпустила домой, уговорив остаться ночевать, — на что с радостью согласилась бедная мать, чувствуя, какую страшную, мучительную пытку вынесла бы она возвратясь теперь в свой осироте-

лый дом.

Утром пришлось долго ожидать появления новобрачных из спальни. Бабушка мечтательно-слащаво улыбалась.

Они вышли свежие и прекрасные. Юрий видимо конфузился своего нового положения. Он даже стеснялся говорить Ненси «ты». А она имела самый победоносный вид и командовала мужем. Но все-таки обоим было как будто не по себе, даже в присутствии близких, и, наскоро выпив кофе, они убежали, как вырвавшиеся на волю зверки, к своему возлюбленному обрыву.

— Нет, уж какая теперь консерватория!.. и думать нечего... — печально сокрушалась Наталья Федоровна, возвращаясь домой.

VIII.

Бабушка, наслаждаясь, радовалась счастьем прелестных «детей»; но ей было скучно, особенно по утрам и вечерам. Она так привыкла в течение многих лет сама укладывать в кровать и утром одевать свою Ненси!

— И наверно она теперь небрежничает — спит без перчаток *et ne se soigne pas*[91]...- думала бабушка; но спросить Ненси по поводу этого обстоятельства находила неудобным: «дети» не разлучались ни на минуту. Впрочем, бабушка напрасно беспокоилась. Ненси как-то сразу постигла силу бабушкиной премудрости и, с тщательностью относясь теперь сама к нежности и эластичности своей кожи, заставляла горничную проделывать все преданные ей бабушкой манипуляции обтираний и натираний.

Неделя счастья пролетела как один день. Ненси и слышать не хотела об отъезде; ей казалось, что в Париже, или вообще во всяком другом месте, не так уже свободно можно будет наслаждаться, как здесь, среди полей деревни.

Юрий был у матери раз два вместе с Ненси. Грустная в своем одиночестве, Наталья Федоровна стала немного светлее смотреть на все: ей нравилась Ненси.

— Пожалуй, и не все потеряно, — шевелилась слабая надежда в груди матери. — Пока они в чаду... а там все войдет в колею, и мальчик примется за работу.

Юрий после женитьбы к роялю не притрагивался, и только один раз во все время почувствовал потребность писать. Он заперся в библиотеке.

Бабушка воспользовалась этой минутой, чтобы расспросить подробно Ненси обо всем. «Она может совсем отвыкнуть от меня, та *petite chérie*».

— Ненси, *tu es heureuse, chère?*[92]- спросила она, нежно привлекая к себе внучку, когда они остались вдвоем.

— О, бабушка!.. — могла только воскликнуть Ненси, пряча на груди старухи покрасневшее, счастливое лицо.

— *Et bien, raconte-moi tout... franchement*[93] ... все... все, как ты привыкла. *Mais tu n'as pas oublié ta pauvre grand' mère?*[94] Не правда ли?

— О, бабушка!..

Всем, сообщенным с восторгом и смущением юной женщиной, бабушка осталась очень, очень довольна. Юрий оказался совсем не таким неловким, *peu sensible*[95], «байбаком», как она предполагала. Он называл Ненси и Психеей, и *Vénus*[96], восхищался, целовал ее ножки и даже собственноручно обувал их каждое утро.

Прошло еще несколько недель. Ненси стала прихварывать, появились подозрительные признаки. Бабушка, сознавая всю нормальность и возможность подобных явлений, однако смертельно испугалась и не знала, что делать. Она бросилась даже за советом к искренно презираемой ею Наталье Федоровне; но та совсем иначе отнеслась в обстоятельстве, вселявшему такой страх в душу бабушки. Презрение Марьи Львовны к странной чудачке возросло еще больше. Тем не менее, неизбежность предстоящего ужаса была слишком очевидна. Оставалось покориться и помогать *a pauvre petite*[97] — перенести несчастье. Более всего Марья Львовна опасалась за последствия: «*Elle est très bien*

construite... mais elle est trop jeune — cela peut changer les formes»![98]

Ненси, напротив, занимало ее новое состояние, и если бы не некоторые болезненные припадки, — ей было бы совсем весело.

Юрий принял очень серьезно новое осложнение в их жизни. Он, прежде всего, страшно испугался; ему, почему-то, показалось, что Ненси должна умереть, и что, в большинстве случаев, умирают от этого; но после проникся необыкновенным, как бы религиозным чувством к предстоящему таинству появления в мир новой души, частицы его собственной. Ему хотелось плавать и молиться. Он нежно, бережно целовал Ненси, шел к роялю и поверял ему необъяснимое, высокое, дивное, чего не мог выразить его язык, но что так ясно выливалось в звуках.

Наступила осень, холодная и неприятная в деревне. Бабушка предложила переехать в губернский город; но «дети» отклонили, хотя бабушка совсем изнывала от тоски. Помимо тревоги за свою Ненси, она страдала и от другого: она чувствовала себя совершенно одинокой; она попробовала быть «*comme amie de*

ses enfants»[99], но это как-то не ладилось: у них были свои разговоры, свои споры, свои ласки, и бабушка была лишней. Она не узнавала даже своей Ненси в этой немного распущенной, привыкшей теперь к капотам, потерявшей грацию и изящество маленькой женщине. А беднягу Юрия она почти возненавидела: «Ce petit canaille[100] — главный виновник всем несчастиям. Ничего лучшего не мог устроить»!

Юрий сильно возмужал духом. Прежний нелепый детский восторг стал сменяться более вдумчивым отношением к себе и к Ненси. Теперь, когда она сделалась его женой, и он уже освоился с своим положением, он увидел сильные пробелы в ее образовании, и захотел, чем мог, пополнить их. Теперь уж поучала не она, а он. Он перевез из дому довольно большую библиотеку своего покойного отца, и в длинные осенние вечера знакомил Ненси с русской историей, с литературой... Бабушка, шившая, скрепя сердце, из старого линобатиста маленькие распашонки для нового пришельца, сидела тут же... Она находила «все эти чтения» совсем ненужными и даже очень

скучными; но не высказывала своего мнения, боясь раздражить Ненси, которой это нравилось. «*Qu'elle soit tranquille, pauvre petite*»[101] ... Иногда, если Ненси оставалась в постели, Юрий читал ей в спальне. И многое узнала Ненси. Она узнала, что Россия вовсе не неистощимый большой сундук, откуда можно черпать, сколько угодно, денег, чтобы беспечно проживать их за границей, а очень, очень бедная страна; она узнала, что ее очаровательные прабабушки не только умели пленительно улыбаться кавалерам, но, одеваясь в изящные наряды, пребольно били по щекам своих несчастных горничных; если атласные башмаки были сделаны неудачно, они тыкали домашней башмачнице ножкою в лицо и разбивали в кровь ее физиономию; она узнала, что над паутиным вышиванием чудных пеньюаров, которые они носили по утрам, трудились и слепли целые поколения подневольных работниц. Она узнала, что элегантные прадедушки, благородными лицами которых она так любовалась на старых портретах в столовой, умели не только чувствовать и веселиться, но обладали еще и другими,

неведомыми Ненси, достоинствами: они до смерти засекали на конюшнях своих крепостных людей; за плохо вычищенный сапог или не по вкусу приготовленное блюдо сдавали в солдаты, ссылали на поселение, губя таким образом часто целые семьи, и при этом не только не считали себя виновниками чужих несчастий, но с гордостью, до самой смерти, носили имена благороднейших и честнейших людей своего времени.

По мере приближения роковой минуты, на Ненси стал нападать иногда страх, который бабушка увеличивала еще больше своим вниманием и беспокойно озабоченным видом. Юрий, поддаваясь окружающему его настроению, тоже в такие минуты падал духом. Одна Наталья Федоровна своим появлением вносила бодрую струю в их жизнь. Она так умела разговорить и убедить Ненси в легкости предстоящей минуты, что Ненси на несколько дней оживлялась и не обращала внимания за бабушкино убитое лицо и ее опасения, заставляла Юрия читать святцы, чтобы выбрать имя позамысловатее, дразнила будущего «папеньку», шутила и смеялась.

Юрий нарочно ездил в город и привез оттуда какую-то популярную медицинскую книгу; заперся один и изучал по ней общее состояние женщины во время беременности, отдельные случаи и послеродовой период. Набравшись всяких ученых сведений, он делался необыкновенно строг и мрачен, не позволяя Ненси ни шевелиться, ни говорить. Он находил самую горячую поддержку в бабушке, очень довольной, когда мысли его и образ действий принимали такой оборот. Тогда Ненси посылала за Натальей Федоровной, и все опять приходило в норму.

— Elle est trop jeune! [102] — с отчаянием восклицала бабушка.

Наталья Федоровна рассказывала о рождении Юрия, что особенно любила слушать Ненси, и о том, что она, Наталья Федоровна, была в то время так же молода, как Ненси.

Приближался май, а с ним и решительная для Ненси минута. Уже снег сошел с полей, с шумом понеслись весенние потоки, а солнце, грея и лаская землю, вновь возрождало к жизни уснувшую природу.

С месяц, без всякой надобности, в доме жи-

ла акушерка, пожилая особа, с белыми, нежными руками и серьезным лицом.

— Можно? — обращались к ней по поводу всякого пустяка.

Она или важно делала утвердительный знак головой, или произносила категорическое:

— Нет!

Если это касалось каких-нибудь сластей или любимого блюда и Ненси принималась плакать, строгая распорядительница ее судьбы разрешала тогда «разве самый маленький кусочек», — и Ненси успокоивалась.

Бабушка была чрезвычайно довольна этой солидной особой, «*très consciencieuse*»[103]. Она поверяла ей свои опасения относительно изменения форм корпуса Ненси, и та совершенно успокоила ее на этот счет.

Для решительной минуты был приглашен из города лучший врач. Из Петербурга ожидалась знаменитость — специалист.

Уже отцвели фиалки, и, сбросив свой светло-зеленый покров, выглянул белый душистый ландыш. В доме уже два дня как царствовала страшная тревога, превозмочь кото-

рую оказалась бессильной на этот раз даже сама Наталья Федоровна. Ожидали трудных родов. Акушерка озабоченно покачивала головой, врач глубокомысленно покручивал усы, и только приехавшая знаменитость была в очень веселом настроении: уплетала завтраки и обеды, приготовленные искусным поваром бабушки, и, восхищаясь прелестями деревни в весеннюю пору, предвкушала наслаждение крупного куша за свой визит.

На третий день в вечеру начались давно ожидаемые схватки. Бабушка умоляла, на случай больших страданий, захлороформировать Ненси. Врач разделял ее желание, но знаменитость была за естественный порядок вещей, — «тем более, что мать так молода и сложена прекрасно».

Ненси не отпускала от себя ни на минуту Юрия. Она держала его крепко-крепко за руку, при каждом приступе боли громко вскрикивала и принималась плавать. Вокруг ее глаз легли темноватые тени. Широко раскрытые глаза смотрели вопросительно и испуганно. Юрий не мог видеть, как конвульсивно содрогалась от боли Ненси, не мог переносить

ее как бы молящего пощады взгляда. Ему казалось, что совершается нечто до безобразия возмутительное, несправедливое, и он, помимо своей воли, он... он один — виновник.

Вдруг Ненси стиснула зубы, и из ее груди вырвался дикий, злобный крик.

Юрия удалили. Шатаясь, вышел он из комнаты. В ушах его жестоким упреком отдавался отчаянный крик Ненси. Сознание виновности сводило его с ума. Ему хотелось, как безумному, кричать, рыдать и проклинать. Не за одну Ненси — нет! за всех, так обреченных судьбою страдать от сотворения мира, женщин был возмущен его дух.

— Зачем это? Зачем?..

Его тянуло к роялю, — ему хотелось в звуках вечного «Wagum» найти исход своим тяжелым мукам... Он вспомнил, что играть нельзя, он изнывал. Он чувствовал себя беспомощным; ему хотелось убежать как можно дальше, дальше... Он бросился в бабушкин кабинет, находившийся на другом конце дома, и там в изнеможении упал на широкий старинный диван.

Из спальни все чаще и чаще доносились то

протяжные и жалобные, то резкие и отчаянные крики, а им в ответ, как будто эхо, раздались другие, не менее жалобные, не менее отчаянные: то кричал Юрий, извиваясь по дивану, рыдая, кусая подушки, проклиная свое бессилие...

Когда Наталья Федоровна отыскала его, чтобы сообщить о благополучном исходе, он был почти без памяти. Матери стояло большого труда его успокоить.

— Я, мама, — воскликнул он со слезами на глазах, — я никогда больше!.. Если бы я знал, если бы я знал, какие это муки!.. Как это возмутительно и как несправедливо!..

Растроганная Наталья Федоровна ласково погладила это по голове.

— Мой милый мальчик, мой милый фантазёр, все это просто и естественно. Не создавай ужасов; пойди, полюбуйся за свою дочь! Расти ее такую же честной, такую же благородной, каким вырос ты сам.

Когда Юрий вошел в спальню, он не узнал Ненси. Она сделалась такую маленькою, худенькою, несчастненькою; ее бледное, бескровное личико почти не отличалось от бе-

лизны подушек; ее губы улыбались хотя счастливой, но болезненной улыбкой; ввалившиеся, измученные глаза смотрели взглядом больного, почувствовавшего облегчение.

Важная акушерка поднесла ему, в белой простыньке, что-то маленькое, морщинистое, с мутными глазами и пучком волос на почти голом черепе.

Но он так был полон впечатлениями только что перенесенных мук, что ничего другого, кроме жгучего сожаления, не шевельнулось в его груди, при виде этого маленького создания.

— Одной несчастной больше!

И он не радовался, а готов был снова заплакать.

IX.

Прошла неделя. Ненси, благодаря бдительному уходу, окруженная нежною любовью и лаской, поправлялась быстро. Уже щечки ее похудевшего лица опять заиграли румянцем, а глазки блестели, по прежнему, радостью и счастьем. К своей новорожденной дочери, названной в честь бабушки Марией, она относилась странно. Она просила, чтобы ее приносили к ней на кровать; подолгу, с величайшим любопытством и даже нежностью разглядывала микроскопические черты ребенка, причем всего больше ей нравился носик.

— Ах, какой носик, ах, какой носик! — восклицала она с восторгом. Но органической связи между собою и этим маленьким существом, которым она любовалась, она как-то не ощущала. В ней не было того, что лежит в основе каждого материнского чувства — сознания собственности.

При девочке состояли: здоровенная кормилица и, присланная важною акушеркою, опытная няня, «живавшая в хороших домах и

знающая все порядки», как она сама себя аттестовала.

Бабушка, убедившись, что появление на свет девочки нисколько не повлияло на красоту матери, почувствовала и к ребенку что-то даже в роде нежности и прозвала ее «Мусей».

К июню Ненси совсем оправилась. С резвостью молодой козочки носилась она по аллеям старого сада, и в первый же день, как только ей была разрешена более продолжительная прогулка, она увлекла Юрия к купели их любви — в обрыву. Опять в траве стрекотали кузнечики, опять нежно и приветливо журчал ручей; заветный камень, окруженный кустарником, так же уютился на берегу и так же шумели деревья, и глазки Ненси все так же блестяли любовью; но Юрий, задумчиво обнимавший свою юную подругу, был уже не тот. Тот, прежний, бледный, конфузливый юноша, тот раб этой златокудрой феи, ушел куда-то далеко. Юрий сам не мог хорошенько дать себе отчета, что с ним творится. Он только сознавал, что в нем происходит какая-то серьезная внутренняя работа: пробуждались

прежние идеалы, назревала жгучая потребность дела и знаний. Он стал искать одиночества; ему теперь часто хотелось сидеть одному и думать, думать, стараясь разобраться в себе и окружающей его обстановке. С тех пор, как он стал отцом, он все больше и больше задумывался над своим положением. То, о чем он прежде, в чаду своей молодой страсти, как-то и не заботился, его полная материальная несостоятельность, рядом с окружающей роскошью, которой он пользовался, стала смущать и тревожить его неотступно. Он начал находить такое положение вещей для себя унижительным, и решил, что, помимо призвания в музыке, он должен немедленно приступить к серьезной работе над своим музыкальным образованием, чтобы стать независимым, самостоятельным работником, вносящим посильную лепту в семейное хозяйство.

От Ненси не укрылось его беспокойное душевное состояние.

— Что с тобой? — спросила она его однажды, перед тем, как ложиться спать. — Ты болен?

— Нет.

— Но что с тобой? Не мучь меня.

— Ах, Ненси, — тоскливо вырвалось у него, — если бы ты знала, как мне хочется работать!

Ненси даже не поняла, о чем он говорит. Работать? Зачем работать?.. Если бы он был бедняк, тогда — другое дело; а ведь они так богаты!

— Богата, Ненси, ты, — ответил он с улыбкой, — и даже не ты, а твоя бабушка.

— А если бабушка, тогда и я, — сказала Ненси уверенно.

— Ну ты, ну бабушка... а я?

— И ты! Раз это моя бабушка — она твоя бабушка; она богата, я богата, значит и ты богат.

— Нет, это вовсе не значит. Да если бы я и сам, понимаешь, сам даже был богат, — я бы все-таки считал долгом работать.

— Зачем?

— Чтобы иметь законное право жить в человеческом обществе.

Но Ненси, положительно, не соглашалась с ним.

— Если богатые будут работать, то что же

тогда останется делать бедным? Это ужасно! Они должны будут все, все умереть с голода. Нет, пускай бедные работают, а богатые платят им большие, большие деньги; тогда наступит общее благополучие и в мире не останется несчастных.

К вопросу о призвании Юрия к музыке Ненси отнеслась, однакоже, гораздо более сочувственно, хотя находила, что он и так играет необыкновенно, и что теперь, когда уж он женат и даже отец семейства, — совсем не время делаться школьником. Но по мере того как он говорил, она сама стала увлекаться его пламенем.

Да, да! ему необходимо поступить в класс композиции, который теперь в Петербурге в ведении знаменитости, профессора-композитора.

— Отлично! едем! — пылко воскликнула она. — Но ты не будешь музыку любить больше меня? — прибавила она с лукавою улыбкой, прижимаясь к мужу.

Тот горячо, от всей души поцеловал ее.

На другой день он отправился к матери.

— Мама, милая, я пришел в тебе с прось-

бою, — начал он застенчиво.

— Что, родной? Говори.

— Я, видишь, мама... я решил поехать в августе в консерваторию, — так помоги мне!

Наталья Федоровна вся просияла от радости.

— Милый, милый! — говорила она, захлебываясь от избытка нахлынувшего чувства, — да как же ты надумал?.. Ну, слава Богу!.. Я верила в тебя!.. всегда верила!.. Ты говоришь: помочь?.. Ах, глупый, да для кого же я живу? Что мое, то и твое... Немного — это правда, но чтобы поддержать тебя, пока ты станешь на ноги — хватит... Вот только, пожалуй, встретится препятствие относительно бесплатного поступления — уж год прошел... Ну, да все равно, будем платить, — не важность... Ах, ты мой родной!.. Милый ты... милый мой!

Наталья Федоровна гладила его пушистые волосы, целовала его.

— Хорошее у нее, отзывчивое сердце! — с чувством произнесла Наталья Федоровна, когда Юрий рассказал о решении Ненси ехать с ним.

— Но, впрочем, как же иначе? Иначе не могло и быть. Вы так любите друг друга — разлука невозможна.

Ненси, с своей стороны, тоже сообщила бабушке о новых планах на зиму.

Бабушка разинула рот от изумления.

— А... а Париж? Уж нынче можно ехать превосходно и провести чудесную зиму.

— Ему надо учиться, — повторила Ненси.

— Ah, quelle bêtise!.. — вспылила бабушка, — d'avoir une femme charmante — и таким вздором пичкать себе голову!.. C'est révoltant!..

[104]

— Mais nous irons ensemble[105], — возразила Ненси.

Тут уж негодованию бабушки не было конца.

— Как? как? Oh, pauvre petite! Ты до того унилась, что бросаешь меня, все, — и идешь, сломя голову, за ним, ради его каприза!

— Нет, бабушка, мы едем все: и ты, и я, и Муся. Он там поступит в консерваторию, и всем нам будет очень, очень весело... Ты говорила мне сама, что Петербург — прелестный

город.

— Comment? — бабушка задыхалась от волнения. — Чтобы я поехала? jamais! Mais tu es folle, chère petite![106] О, Боже мой, так подчинить себя мужчине, что потерять рассудок!.. Как я тебя учила с детства, как я просила, как а предупреждала?! Ведь это самое ужасное — пойми! Oh, pauvre petite, oh, pauvre petite, пойми, как ты упала!

— Ах, бабушка, но он должен учиться!.. — растерянно пробормотала Ненси, озадаченная этой тирадой.

— И в Петербург?!- продолжала бабушка, не обращая внимания на ее слова. — Но это сумасшествие!.. Mais tu mourras!.. Все доктора сказали, что для тебя это — гибель... Mourir si jeune, si belle... Et il connaît très bien, и... и допустить!.. Voilà l'amour fidèle et tendre![107]

— Но что же делать? — с отчаянием вскричала Ненси. — Не знаю, я не понимаю!

Как ни была раздражена бабушка, но, при виде смертельно бледного лица Ненси, смирилась.

— Ma chère enfant, обсудим хладнокровно, — перешла она в более сдержанный

тон. — Я в первую минуту погорячилась. Soyons plus raisonnables. Un homme déjà marié, — il veut apprendre?[108]- бабушка улыбнулась иронически. — Пускай! Но прежде всего он должен думать о тебе... Tu es si belle, si jeune, тебе необходимо общество, — чтобы вокруг тебя все было весело и оживленно!.. Когда же жить? Les concerts, les spectacles, les dames, les belles toilettes — c'est gai, c'est amusant!.. Нельзя же вечно жить в деревне и наслаждаться поцелуями. Il faut commencer la vie.[109] Тебе в Петербурге жить нельзя — c'est décidé!.. Moscou? Je le déteste, — avec ses rues si sales, avec ses marchands, avec la vie si ordinaire...[110] Куда же ехать? В Париж — pas d'autre choix!.. И если он хочет учиться — чего лучше? Парижская консерватория — c'est un peu mieux, чем наши доморощенные, — je pense bien.[111]

Ненси указанный бабушкой исход казался в высшей степени привлекательным.

«Парижская консерватория — ведь это прелесть! — думала она. — Как бабушка умна! Как бабушка добра!»!

К возможности посещать концерты и спек-

такли Ненси тоже отнеслась сочувственно. Яркое встал в ее воображении ее любимый город, с его шумной, точно вечно празднующей какой-то праздник толпой, с его тенистыми бульварами, с его магазинами, щеголяющими один перед другим роскошными выставками товара в окнах. Точно во сне проносились перед нею длинные ряды фиакров, с их кучерами в белых и черных цилиндрах, блестящие экипажи с красивыми женщинами в богатых изящных нарядах, в шляпках самых разнообразных и причудливых форм; ей слышится гул толпы, бесконечными шпалерами снующей по обеим сторонам Елисейских Полей, смех, свист, визг и говор, хлопанье бичей, пронзительный крик газетчиков, выкликающих на всевозможные голоса: «la Presse»!.. «le Jour»... «l'Intransigeant!»... Париж живет, Париж энергично дышит своей могучей грудью, боясь минуту потерять в вечной погоне за радостями жизни. Воображение Ненси уносит ее в Лувр. Она видит себя среди своих любимых картин. Она здесь как дома: ведь это все ее старые знакомцы. Вот «Юдифь и Олоферн», Верне... вот «Les illusions perdues», «La liberté

qui donne le peuple»... «La mort d'Elisabeth» [112]... вот Грез... а вот и она, ее особенная любимица — «Мадонна» Мурильо...

— О, Боже мой! Опять все это видеть! — и Юрий вместе с нею... Какое блаженство!

Она нетерпеливо ожидала возвращения Юрия.

— Послушай, знаешь что? — встретила она его. — Ты... ты не можешь себе представить, как все устроивается!

И она с шумною радостью сообщила мужу о бабушкиных планах, пересыпая рассказ восторженными прибавлениями от себя.

— Ну, что же ты молчишь?.. ну, отчего не восхищаешься? — теребила она Юрия, все более и более становившегося мрачным.

— Это невозможно! — проговорил он, после минутного молчания, тихо и твердо.

Ненси оторопела.

— Как?.. Как?.. Почему?

— Я тебе говорил.

— Ах, это, верно, опять все тот же несчастный денежный вопрос! — возмутилась Ненси. — Но отчего же в Петербурге тебе можно, а в Париже нет?

— А очень просто, — смущенно ответил Юрий, — тут мне отчасти поможет мать... и сам я тоже... уроки, если не музыки — репетитором буду... Еще — вот главное — есть шанс, что я буду принят даром...

— Но отчего же нельзя принять помощь от бабушки? — не понимаю.

Ненси, вскинув задорно голову, повела плечами.

— Она... она... — Юрий искал слов, чтобы яснее и мягче выразить свою мысль. — Она чужая... т.-е. не чужая... я ее очень, очень люблю, но... как бы мне тебе объяснить?.. Ну, вот: если мать поможет, пока я слаб — и я ей буду помогать потом... А тут я чем отвечу? Облагодетельствованным быть я не хочу!

— Зачем же ты тогда на мне женился? — неожиданно и резко сказала Ненси. — Ты же знал, что я богата!

Лицо Юрия валилось густою краскою.

— Зачем я на тебе женился? — повторил он, как бы сам для себя ее вопрос. — Зачем? Мне сердце так велело, — он порывистым нервным движением откинул упавшую на лоб прядь курчавых волос. — Богата ли ты,

или нет — я не знал... не думал... Я... я любил!.. Но... чтобы так... всю жизнь жить за чужие средства... Я не могу!.. Лишать тебя, когда ты так привыкла — я не имею права... Но сам? Нет! Это было бы гнусно.

— Ты знаешь? В Петербурге жить мне невозможно, — сдвинув сердито брови, заявила Ненси. — Мне доктора давно сказали, а бабушка напомнила... Там для меня — смерть!

Юрий задумался, потом быстрыми, решительными шагами подошел в Ненси, присел около и взял ее за руку.

— Послушай, Ненси, — с силою проговорил он. — Это необходимо и... иначе я не могу — пойми!.. Но, милая, но, дорогая, — он нежно обнял ее за талию, — ведь это так не долго!.. Ну, три-четыре года... Ведь можно приезжать на Рождество, на Пасху, и лето будем вместе. Не покладая рук я стану работать, чтобы поскорее кончить, и заживем мы снова неразлучно.

«Voilà l'amour fidèle et tendre!»[113] — пронеслись в голове Ненси зловещие бабушкины слова.

— Что же ты молчишь? — ласково оклик-

нул ее Юрий.

— Ах, оставьте меня, оставьте!

И Ненси стремительно убежала по направлению к бабушкиной комнате. Юрий не ожидал такой странной, обидной для него выходки. Он стоял в недоумении. Ему захотелось сейчас же броситься за нею следом, но почему-то он вдруг повернул в противоположную сторону и побрел в сад.

Ненси, прерывая свою речь слезами, рассказывала бабушке о только что происшедшем разговоре.

— Ну вот, ну вот! — злорадно торжествовала бабушка. — Я говорила, говорила! *Voilà le commencement!* Чем дальше — будет хуже!.. *Oh! Nancy, mon enfant, tu es bien malheureuse, pauvre petite! Voilà l'amour! Voilà!..*[114]

И Ненси, действительно, чувствовала себя глубоко несчастной. Как? ради каких-то нелепых денежных счетов, он находит возможным расстаться с нею?! Из-за упрямства не хочет уступить? Он должен был все, все перенести, только бы не разлучаться. И вдруг, в жертву ложному самолюбию приносить их счастье! Да, бабушка была права, тысячу раз

права — он вовсе не любит!

— Nency, mon enfant chérie, — говорила бабушка наставительно, — au moins теперь, sois obéissante, — слушайся беспрекословно. Il doit être puni. Il doit rester seul et bien comprendre son crime. Пожалуйста, не вздумай отправляться в спальню — tout sera perdu! C'est une punition la plus sensible pour un homme,[115]-поверь мне. Ты будешь спать сегодня у меня.

До самого глубокого вечера просидел Юрий в старом бельведере. Уже стемнело совсем. Юрий с удивлением взглянул на точно застывшие в полумраке деревья. Среди своих глубоких, мрачных дум он и не заметил, что спустилась ночь. Уныло поникнув головою, побрел он домой...

Прошло два дня. Юрий, по-видимому, был непреклонен в своем решении. Он не говорил ни слова, глядел мрачно исподлобья, целые дни проводил в саду. Он глубоко, глубоко страдал. Поведение Ненси — то, что она так мало его понимала — приводило его в отчаяние. При виде ее постоянно заплаканных глаз — у него сердце разрывалось на части, но в то же время он знал, он чувствовал, что,

несмотря ни на что, решения своего не изменит.

Ненси все время держалась около бабушки, избегала оставаться с ним наедине и смотрела за него глазами, полными упрёка. Бабушка же была в совершенном недоумении: придуманное ею самое чувствительное наказание оказывалось бессильным.

Однажды, вечером, Юрий, на глазах бабушки, взял Ненси за руку и увел в сад.

— Послушай: неужели ты хочешь, чтобы я был приживальщиком? Ты бы должна была, в таком случае, презирать меня!

Сказав эти слова и не дожидаясь даже ответа, он бросил ее руку и пошел в глубь аллеи.

Она побежала за ним.

— Прости, прости меня! — лепетала она, прижимаясь к нему, заглядывая в его полные скорби глаза и заливаясь слезами.

Они помирились. Влияние бабушки значительно ослабло, но в тайнике души Ненси все-таки жила глубокая обида. Нет, он не любит! — утверждалась она все больше и больше в своей мысли.

Так протянулся месяц, и Юрий стал готовиться к отъезду. В душе Ненси снова вспыхнула надежда. Неужели он решится? Неужели он от нее уедет? Чем ближе подходил роковой день, тем Юрий становился капризнее и капризнее. Бабушка решила, наконец, сама поговорить — *avec cet imbécile!*[116] Она призвала его в кабинет и заперла дверь на ключ.

— Разве вы не видите, что делается с Ненси? — строго спросила она его. — Вы убиваете ее.

Юрий вздохнул и поднял на бабушку свои измученные глаза.

— На что же вы решаетесь? Неужели же невозможно изменить ваш план?

Юрий молчал.

— *Mais répondez!*[117]

— Нет, — едва слышно проговорил Юрий.

— *C'est révoltant!*[118]- вскипела бабушка. — К чему же это приведет?

— К хорошему, — убежденно ответил Юрий.

— *Et cette pauvre petite femme restera seule... Mais elle tous aime!..*[119]

— И я ее люблю больше собственной жизни!

— Но что же с нею будет?

— Она слишком честна — она поймет, что иначе мне поступить нельзя.

Бабушка, чувствуя, что больше не в силах сдерживаться, и что может выйти какая-нибудь «история», чего она была злейший враг, отчаянно замахала руками:

— Allez, allez![120]

* * *

Юрий уехал. В минуту отъезда произошла раздирающая сцена: Ненси плакала, цеплялась за него, как безумная; бедный юноша не выдержал и, прижав ее крепко к груди, разрыдался сам.

— Прости, прости меня, — лепетал он, — но иначе нельзя!

Она в бессилии упала на кресло; он опустился на колени, целовал ее руки...

— Ненси, не плачь! — умолял он ее. — Я буду писать тебе каждый день... Все мысли мои будут с тобою и около тебя... Ненси, Ненси, ты помни — у нас дочь! Мы жить должны не только для себя, но и для нее!..

Бабушка хотя и холодно рассталась с Юрием, но все-таки, в виде благословения, вручила ему маленький образок Казанской Божией Матери, со словами:

— Elle vous guidera dans toutes vos actions!
[121]

Х.

В городе шли большие приготовления к предстоящему благотворительному балу. В обширном барском доме-особняке, который наняла и омеблировала роскошно Марья Львовна, чтобы провести в нем зиму, — так как Ненси решила не уезжать из России, — тоже было не мало хлопот.

Сидя в своей любимой угловой темно-малиновой комнате, бабушка совещалась относительно туалета Ненси с постоянным завсегдатаем их гостиной, старым холостяком Эспером Михайловичем.

Это был чрезвычайно благообразной наружности, худощавый господин с сильной проседью, с выпуклыми светло-голубыми глазами и совсем белыми холеными усами, для чего на них самым аккуратным образом надевались на ночь наусники «монополь». Эспер Михайлович постоянно бывал не то чтобы навеселе, а в меру возбужден. Эспер Михайлович когда-то был очень богат, спустил свое состояние, получил наследство от дяди, потом от тетки, и эти спустил; наконец, досталось

ему небольшое имение от какой-то дальней кузины — он вздумал его эксплуатировать, как практический человек нашего практического века — ставши компаньоном одного «верного» дела; но дело оказалось совсем неверным, и Эспер Михайлович остался без всяких средств. Но он не унывал. Он стал жить в долг, перехватывая у приятелей, не переставая любить жизнь и ожидая в будущем еще каких-то эфемерных наследств. Он три четверти жизни провел за границей, очень любил дамское общество, доподлинно знал все романические истории города, в каждом доме был первый друг и советчик и незаменим на светских базарах, лотереях и вечерах.

В эту минуту он сидел возле Марьи Львовны перед столом, на котором стояло четыре лампы. Бабушка перебирала образцы материй, поднося их к огню.

— Нет, cher[122], как вы хотите, но эти два цвета: vieux rose и jaune[123] — несовместимы.

— Уж поверьте мне, — горячо отстаивал Эспер Михайлович, — я сам видел une pareille

toilette[124] в Париже в 83 году...

— Н-не знаю...

Марья Львовна зажмурила глаза, чтобы яснее представить себе Ненси в проектируемом платье.

— Н-не знаю... Une petite basque ajustée, ornée de perles...[125]

— Oh, c'est parfait! — с восторгом подхватил Эспер Михайлович.- Mais ajustée.[126]

Обоюдными усилиями, наконец, авторы пришли к соглашению.

— А где наша bébé-charmeuse[127]?

Так прозвал Эспер Михайлович Ненси.

— В детской.купают Мусю — она любит смотреть.

— И я пойду. J'adore les petits enfants.[128]

Он пошел молодежливой походкой, слегка раскачиваясь стройным станом и напевая вполголоса.

— Oh, pauvre, pauvre homme! — вздохнула ему вслед Марья Львовна.- Les beaux restes [129] прежнего дворянства.

В детской, окрашенной белой масляной краской и немного жарко натопленной, происходила церемония купанья маленькой Му-

си.

В ванночке сидела девочка, наполовину завернутая в простыньку. Она улыбалась, покрикивала и била ручонками по воде.

Нянька, с сознанием необыкновенной важности совершаемой операции, поливала плечи ребенка водой и, намывлив губку, бесцеремонно мазала ею по голове и лицу девочки. Та отфыркивалась, встряхивала головенкой и, как бы в виде протеста, еще сильнее шлепала ручками по воде.

Рослая мамка, сидя в углу детской у стола, лениво пила чай и, громко чавкая, пережевывала булку.

Ненси, глядя на девочку, покатывалась со смеху всякий раз, как та гримасничала от прикосновения губки.

— Можно? — раздался голос Эспера Михайловича за дверями, и, не дожидаясь ответа, он сам появился на пороге.

— Charmeuse, туалет решен! — объявил он торжественно.- Mais comme nous sommes jolies?![130]- и Эспер Михайлович взасос поцеловал лобик ребенка.

— Она вся мокрая, она вся мокрая! — захо-

хотала Ненси.

— О, это ничего... j'adore les petits enfants!.. Капот — восторг! — обратился он к Ненси, указывая на ее капот. — Складки лежат превкусно!..

— Ох, барин, и шутник же!.. — усмехнулась нянька.

— Ппхи!.. — фыркнула в углу кормилица.

— Чего ты?

— Да больно шутники.

— О, быдло, быдло! — презрительно повел глазами в сторону мамки Эспер Михайлович. — Ну, вот вам!.. Ах, как меня всегда злят все эти народники! Однако, charmeuse, нас ждут grand'maman и высшие соображения относительно туалета, — напомнил он Ненси.

— Мы забыли намазать ее глицерином, — сказала Ненси, уходя из детской.

— Ничего, барыня, ванна из миндальных отрубей была даже очень успокоительна, — отвечала нянька.

Ненси изменилась с тех пор, как мы ее оставили. Своенравный, капризный ребенок с золотистыми кудрями по плечам удивительно скоро превратился в молодую, но

вполне выдержанную светскую даму.

Появление в городе богатых, именитых Гудауровых, которым принадлежали крупнейшие и богатейшие поместья в губернии, было целым событием в городской жизни. О бабушке и ее красавице-внучке заговорили, их искали, добивались знакомства с ними. Марья Львовна гостеприимно открыла двери своей великолепной гостиной, и Ненси стала сразу центром общего внимания, и даже злоба местных красавиц должна была смириться перед преимуществами новой гостьи. Она была молода, красива, исключительно богата, говорила на четырех языках, объездила вдоль и поперек Европу — с такой соперничать было бы бесполезно и глупо. Дамы наперерыв с мужчинами стали восхищаться Ненси. А Ненси было очень, очень весело. Она переменяла прежнюю живописную полудетскую прическу на дамскую, и, приподняв высоко волосы, заворачивала узлом золотистые кудри; необыкновенно скоро приобрела она небрежный, но слегка повелительный тон в разговорах с мужчинами, а дам очаровывала изысканной любезностью.

Бабушка с восторгом любовалась созданием своих рук.

Да! Ненси было весело: спектакли, концерты, вечера, прогулки; милые, добрые знакомые ее баловали, возили ей конфеты, цветы; все восхищались ее поразительными туалетами, все выражали сочувствие по поводу ее разлуки с мужем... Последнее обстоятельство несколько омрачало веселое существование Ненси, и как ни старалась она внушить себе законность этой разлуки, чувство обиженного самолюбия не переставало грызть ее сердце.

«Не забывай меня и занимайся Мусей», — писал Юрий, и Ненси каждый вечер отправлялась в детскую присутствовать при купанье своей маленькой дочки, целовала ее нежно, хохотала над ее гримасами, но больше положительно не могла придумать, что с нею еще делать. Она, впрочем, снялась в фотографии вместе с ребенком и послала портрет Юрию.

ХІ.

Когда Эспер Михайлович пришел объявить, что Ненси сейчас придет, только переоденется, Марья Львовна уже была не одна. В гостиной сидело несколько человек гостей: жандармский генерал Нельман — крашеный, в больших бакенбардах и усах; товарищ прокурора Пигмалионов — господин средних лет, очень глубокомысленный и очень рыжий, и служащий в отделении государственного банка, молодой, благообразный блондин Крач с женой, тоже светлой блондинкой, высокой и стройной. Злая иронизирующая улыбка играла на ее крупных бледных губах, а живописно вьющиеся волосы, в связи с мечтательными глазами, придавали ее лицу странное, но поэтическое выражение. Серафима Константиновна — так звали прекрасную блондинку — была талантливой художницей и относилась свысока ко всем, начиная с своего добродушного мужа. Ее гибкую фигуру без корсета облекало черное простое платье, стянутое у пояса широкой лентой с старинной серебряной пряжкой и оттеняло

еще больше болезненную прозрачность ее кожи.

Поодаль от других сидел местный поэт Лигус, недавно окончивший курс в правоведении, молодой человек, приехавший в город кандидатом на судебные должности. Его густые, блестящие волосы были аккуратно приглажены, образуя сбоку пробор; от маленькой, коротко остриженной бородки несло духами; темные глаза смотрели рассеянно; обутые же в лакированные сапоги, ноги нетерпеливо постукивали острыми носками. Он был влюблен в Ненси и ждал ее.

— Войновский мне пишет, что будет непременно к балу, — громко заявил Нельман.

Вошла Ненси. Произнесенное имя поразило ее — это была фамилия ее отца.

— Войновский? Как его зовут? — спросила в то же время Марья Львовна.

— Борис Сергеевич.

«Должно быть, однофамилец или дальний родственник», — подумала успокоенная Ненси, обходя всех с любезной улыбкой.

— Кто этот Войновский? — спросила она

подсевшего к ней Лигуса.

— Наш городской голова, богатый человек... Разве вы не знаете?.. Я вам романс новый принес — мои слова.

Он протянул ей тоненькую нотную тетрадь.

— Мерсі. Вы споете?

— Мне музыка не нравится, — Лигус сделал гримасу.

— Авенир Игнатьевич, вы, кажется, хотите нас порадовать? — окликнула его с дивана Марья Львовна: — я вижу, вы нам принесли новые ноты.

— Да, — вспыхнул молодой человек, — мои слова, но музыкой я не доволен.

— А кто писал?

— Тут есть один такой... настройщик Гриль...

— Ах, Гриль? Дрянь! — раздался сердитый бас Нельмана. — Я, как директор музыкального кружка, хотел его поднять, спасти талант... вы понимаете? — обратился он преимущественно к Марье Львовне. — Я призываю его как-то к себе и говорю: послушайте, говорю, Гриль, — я обращаюсь к вашей совести и го-

ворю вам как друг: хотите исправиться?.. Он рассыпается в благодарности, и то, и сё... Я говорю: поймите, вы ведь нищий, у вас ничего нет, но вы талант — хотите, я вас спасу?.. Он, понимаете, в восторге, чуть не плачет. Я ему опять: итак, слово честного человека — вы бросите пить! Затем кружок будет вам выдавать двенадцать рублей ежемесячно... вы понимаете? Это все-таки обеспечение, а вы ведь нищий. Но так как кружок учреждение не благотворительное, то вы с своей стороны будете участвовать безвозмездно во всех его вечерах и отдадите в полную его собственность все, что вы будете писать... Согласны? — «Помилуйте, говорит, вы благодетель!» — В первый же месяц написал несколько пьес — принес, получил двенадцать рублей. Отлично! Затем испортился рояль в кружке. Я говорю Грилю: исправьте. А он, надо вам сказать, великолепнейший настройщик. Но так как в кружке было неудобно чинить — он взял инструмент к себе, на квартиру. Проходит неделя — ни рояля, ни Гриля! Я посылаю. Ответ такой: привезут рояль через три дня. Жду — не шлет. Отправляюсь, наконец, сам. Что ж вы

бы думали — застаю этого негодяя — pardon за выражение! — мертвецки пьяным, а тысячерублевый рояль оказался уж проданным. Я не хотел поднимать эту грязную историю, предавать суду этого каналью — pardon за выражение! — я выписал новый рояль, но все это меня страшно расстроило, страшно расстроило!..

И как бы в доказательство своего расстройствa он вынул платок и стал поспешно вытирать выступивший на лбу пот.

— О, cher, люди так неблагодарны!.. — успокоила его Марья Львовва.

— Пойдемте петь, — обратилась Ненси к Лигусу.

— Avant dites la poésie.[131]

Лигус поднес в лампе тетрадку и продекламировал с чувством:

Спрошу я мысль: «куда летишь?»

Ответа нет, ответа нет!..

И сердце: «ты зачем молчишь?»

Ответа нет, ответа нет!

*Ответа нет! Но отчего,
Когда гляжу в лазурь небес,*

*Любви я вижу торжество
И жажду песен и чудес?!*

*Я муки глубины постиг,
Безумной муки многих лет...
На вздох души, на сердца крикъ
Ответа нет! Ответа нет!*

— П а d u talent[132], — как бы сообщила всему обществу Марья Львовна, — вы не находите, Платон Иванович? — окликнула она точно заснувшего рыжего прокурора, когда молодые люди вышли в другую комнату, где находился рояль.

— Н-да, не без дарования, — глубокомысленно подтвердил Пигмалионов.

— Платон Иванович дарованья судит с прокурорской точки зрения, — иронизировала Серафима Константиновна.

— Это мне нравится! — захохотал Нельман. — Позвольте, однако... Я крайне заинтересован: мы с Платоном Ивановичем, оба, являемся как бы охранителями общественного спокойствия... значит, и я... значит, и я, в некотором роде должен иметь... как это?... прокурорскую точку зрения на талант, а я —

директор музыкального кружка... Вот вы и объясните нам, милая барыня...

— Мне скучно, это слишком длинно, — проговорила с гримасой Серафима Константиновна.

— Вот, вот, вот так всегда дамы! — хихикал Нельман. — Заденут, заведут, а после и ни с места! Да-с! Хе, хе! Система прекрасного пола... Сирены, сирены!

«Ответа нет, ответа нет!» — доносился из залы несколько носового звука, но приятный тенор Лигуса.

— Ни тут, ни там — ответа нет! — и Нельман захохотал, страшно довольный своей остроумностью.

— Моя судьба вся в этих словах: «ответа нет!» — проговорил Лигус, окончив романс, — но вы... вы не поймете, все равно.

— Прелестно! — крикнула из гостиной Марья Львовна, и как бы в подтверждение ее слов раздались несколько ленивых аплодисментов.

— Вы меня считаете глупой? — задорно спросила Ненси.

— Я? Вас?

— Ну да!.. вы говорите... я не могу понять...
Я молода, но я все понимаю.

— Нет, вы *меня* не можете понять.

— Ах, вы такой глубокомысленный?!

— Нет, не хотите.

— А вот вы молодой, а точно старик — такой чувствительный, такой сентиментальный!..

Ненси захлопнула крышку рояля и пошла, посмеиваясь, в гостиную, впереди уныло за нею шагавшего Лигуса.

В гостиной появилось новое лицо — жена директора местной гимназии — Варвара Степановна Ласточкина, полная, средних лет дама, с мелкими чертами на сером, неинтересном лице. Она знала все городские новости; ее языка боялись, как огня, и она поэтому пользовалась большим влиянием в городе.

— Я окончательно могу сообщить, из самых достоверных источников, что Войновский к балу приехать не может, — тараторила она, обмахиваясь веером, с которым никогда не разставалась, — комиссия, где он заседает, продлится еще два месяца, мне это достоверно известно.

— Однако, как это странно! — мягко заметил Нельман. — Он пишет мне, что будет непременно.

— Не будет, не будет, не будет! Мне это достоверно известно. Мне это сказала вчера т-те Ранкевич. Он обещал ей привезти модный газ из Петербурга, и т-те Ранкевич страшно расстроена — приходится ей шить совершенно в другом роде платье.

— Мне кажется, сведения т-те Ранкевич могут быть не особенно основательны: комиссия заканчивает свои действия через неделю, — внушительно произнес прокурор.

— Ах, Платон Иванович, как вы любите спорить! — вспыхнула Ласточкина. — Я говорю вам, что я знаю из достоверных источников!

Прокурор, пожав плечами, подошел в Ненси.

— Вы сегодня необыкновенно интересны! — проговорил он мрачно и повел своими рыжими усами.

— Мерсі! — ответила Ненси небрежно.

— Бал без него немислим! — горячился Эспер Михайлович. — Без него тоска и мертве-

чина!

— Что он — красив, умен? — спросила Марья Львовна.

— *C'est une beauté!*[133]- воскликнул Эспер Михайлович. — Я в него влюблен, положительно влюблен, как женщина!.. Великолепный рост, глаза засыпающего льва... потом умен... ума палата!

— Не нахожу! — возразила Ласточкина, презрительно пожимая плечами.

— Уж извините — умен! Поставил город образцово, по-барски. Все эти купчины наши злятся, а ничего сделать не могут. Он барин настоящий, родовой, и города теперь узнать нельзя.

— Вы вечно спорите, Эспер Михайлович, а я не нахожу, не нахожу, не нахожу!

— Нет, человек он интересный, — проронила точно сквозь зубы Серафима Константиновна.

Ответ Ласточкиной был прерван появлением лакея, объявившего, что чай готов.

XII.

Залы дворянского собрания блещут огнями. Одиннадцать часов вечера.

У небольшого, кокетливо утопающего в зелени пальм киоска Ненси сплошной стеной толпятся фраки и мундиры. В главный буфет, где у чайного стола заседает сама губернаторша, окруженная цветником интересных дам, с очаровательной улыбкой разливающих чай и предлагающих бисквиты, то и дело прибегают лакеи с требованием новых крушонов.

Ненся, в своем белом, вышитом жемчужными бусами платье, очаровательна. Лицо ее сияет, глаза горят жадным, лихорадочным блеском. Она опьянела от толпы и успеха. Она почти автоматически наливает из большой хрустальной вазы в граненые стаканчики янтарную жидкость крушонона; любезная улыбка не сходит с ее алых губ, а сверкающей бриллиантами ручкой она собирает обильную дань благотворительных бумажек.

— Счастье валит! — шепчет, в упоении, состоящий при ней Эспер Михайлович. — Еще немного, и у нас в кассе — семьсот.

Ненси вздрогнула от удовольствия.

— А, Авенир Игнатьевич!.. Что вы так поздно? — приветствовала она Лигуса, появившегося перед киоском.

Он низко нагнул свою напомаженную голову и, снова подняв ее, прикоснулся губами к протянутой ручке.

— Я был занят, кончал поэму.

— Какие все глупости! Вы тут необходимы.

— Зачем?

— Чтобы быть у кассы. Бедный Эспер Михайлович совсем измучился.

— Ай-ай-ай, *charmeuse*, какая клевета! Я счастлив, что могу быть вам полезен, — и он чмокнул, поймав на лету ручку Ненси.

— Я постараюсь заглядить свою вину, — робко проговорил Лигус.

— А дедушке оставили стаканчик... старому солдату? — шутливо басил Нельман.

Он был чрезвычайно доволен балом и собою; он считал себя красивым мужчиной и испытывал высшее наслаждение, когда облакался в полную парадную форму.

— Сейчас, ваше превосходительство!.. — откликнулся молодой, стройный поручик

местного полка — Сильфидов, старавшийся подражать столичным гвардейским собратьям, для чего считал почему-то нужным носить бриллиантовое колечко на мизинце с длинным ногтем и тоненькую браслетку на правой руке.

Он быстро подал Ненси чистый стакан и ловко поднес его, наполненный, Нельману.

— А вы что же это тут? — усмехнулся Нельман, отхлебывая из стакана и потряхивая серебром своих тяжелых эполет. — Сейчас был у m-лле Завзятой... Ведь вы приставлены к цветам... Она в отчаянии: «пропал, говорит, мой помощник; не знаете ли, где поручик?» А он, извольте видеть, здесь!.. Нехорошо, молодой человек, нехорошо! Хе-хе-е!..

— Я только на минуту забежал помочь... — сконфуженно забормотал, весь покрасневший, бедный поручик.

— И застрял... ха-ха-ха-ха!.. Ну ничего! — снисходительно потрепал юношу по плечу Нельман. — Мы сами были молоды, мы сами увлекались... Сколько прикажете? — обратился он к Ненси..

— Чем больше — тем лучше! — отозвался

из глубины киоска сидевший у кассы Эспер Михайлович. — У нас такой prix-fixe[134].

Нельман нахмурился и, достав из бумажника десятирублевую бумажку, проговорил угрюмо:

— Со старого солдата и этого достаточно!

И убоясь, должно быть, дальнейшего разорения, с улыбкой приложился к ручке Ненси, отвесил поклон и проворно заковылял от киоска.

— Как у вас идет? — у самого уха Ненси раздался певучий голос m-me Ранкевич.

— Merci, очень хорошо, — ответила Ненси.

— Полковник, надо поддержать, — пропела m-me Ранкевич командиру полка Ерастову, с которым стояла под руку, причем прижалась так к его плечу, что ее пышная правая грудь поднялась еще выше, рискуя перейти за положенные для декольте пределы.

О связи с губернатором этой дебелой красавицы было известно целому городу, да и она сама даже как бы бравировала своей ролью, не стесняясь носила роскошные платья и усыпала себя бриллиантами, несмотря на скромное положение мужа — правителя кан-

целярии. Муж, высокий, плотный одноглазый хохол, впрочем, был очень доволен, по-видимому, выпавшей на его долю судьбой. Входя в соглашение с подрядчиками, он обдeldывал грязные делишки и тоже наживал деньгу. В городе эту чету не любили, но терпели по необходимости, и даже сама губернаторша, вечно страдающая экземой на лице, но высоких душевных качеств женщина, прекрасно зная шашни своего невзрачного супруга, приглашала м-ме Ранкевич на все свои благотворительные затеи.

— У нас сегодня аллегри идет неважно, — произнесла м-ме Ранкевич с грустной гримаской, — мне кажется, эта выдумка неудачна: бал и аллегри несовместимы... Сильфидов! вы придете ко мне испытать счастье, — обратилась она, слащаво улыбаясь, к появившемуся опять возле киоска поручику.

— Сочту долгом! — смущенно пробормотал тот.

Он спустил последние двадцать пять рублей у киоска Ненси, и в кармане его ощущалась абсолютная пустота. Но м-ме Ранкевич отнесла его смущение к силе ее неотразимой

прелести и, перегнувшись через полковника, подставляя к глазам юноши свои чересчур откровенно раскрытые формы, повторила с тою же пленительной улыбкой:

— Так смотрите — я вас жду!

Оркестр, на хорах, заиграл вальс.

— Могу я вас просить?.. — расшаркнулся перед Ненси Сильфидов.

— Эспер Михайлович!.. Авенир Игнатьевич!.. Я оставляю на вас мое хозяйство, — и с улыбкою, поклонясь m-me Ранкевич, Ненси вышла из киоска.

Под плавный ритм венского вальса тихо скользили, волнообразно двигаясь, танцующие пары.

Грациозно пригнув головку, Ненси смотрела через плечо своего кавалера, и в мерном кружении мелькали перед нею блестящие квадраты паркета и блески граненых хрустальных подвесок под люстрами, мелькали взмахи белых, голубых, розовых, желтых дамских воздушных платьев и черные фигуры мужчин, и обтянутые желтым трипом белые стулья, и стены с лепными украшениями, и расписанный живописью потолок. Казалось,

все и вся участвовало в общем веселье, и ликовало и радовалось вместе с Ненси, утопая в волнах чарующего вальса.

И среди этого хаоса, среди пестрой смеси красок, звуков, огней, мелькнуло перед Ненси незнакомое ей лицо высокого, статного господина. Ленивые, полузакрытые веки скрывали наполовину величину его великолепных черных глаз; небольшие темные усы изящно окаймляли пунцовые, полные губы; вся осанка дышала благородством; голова с пышными седеющими кудрями держалась несколько надменно на широких, могучих плечах.

Ненси все кружилась и кружилась. Завитки ее волос слегка колыхались от горячего дыхания счастливого ее близостью поручика, и мерное звяканье его шпор приятно раздражало ей слух. Вот теперь мелькнула сидящая в углу, рядом с m-me Ласточкиной, и бабушка. Ненси послала ей издали счастливую улыбку.

«Милая бабушка! если бы она знала, как весело кружиться»!..

И Ненси радовалась своей молодости, кружась в безпечном упоении.

Дыхание Сильфидова сделалось прерыви-

стым — он начал уставать и не так уж мерно позвякивал шпорами.

Когда огибали еще раз зал, глаза Ненси встретились с пристально на нее устремленным взглядом черных глаз того высокого господина. Это было внезапно и так мимолетно, как блеск молнии среди мглы темных туч; но Ненси почему-то вздрогнула и, запыхавшись, велела своему кавалеру остановиться.

У ее киоска ожидала целая толпа жаждущих протанцовать с нею. Но она почти упала на стул, и, улыбаясь счастливою, веселой улыбкой, обмахиваясь веером, прошептала с трудом:

— Устала... не могу!

— Войновский здесь! — сообщил Эсперу Михайловичу Сильфидов, едва переводя дыхание и отирая батистовым платком обильно выступивший на лбу пот.

— Где? где? — даже привскочил с места Эспер Михайлович. — А-а, вижу!.. Молодчина! Значит, прямо с поезда и уже окружен дамами, как всегда.

«Так это, значит, Войновский!» — находясь еще в чаду головокружительного вальса, по-

думала Ненси.

— Я на минуточку вас оставлю, — всполошился Эспер Михайлович. — Авенир Игнатьевич! вот вам касса.

И подвинув Лигусу малахитовую шкатулку, переполненную деньгами, он с легкостью юноши помчался в самый центр залы, ловко лавируя между танцующими парами.

Лакей принес новый полный крушон. Только что налитое холодное шампанское, пенясь, играло вокруг сочных кусков ананаса.

— Кто начинает? — бойко спросила Ненси, окончательно вошедшая в роль очаровательной продавщицы усладительного нектара.

— Я! — мрачно оповестил Пигмалионов, все время болтавшийся у киоска.

— Послушайте: кто эта интересная блондинка? — спросил Войновский юлившего подле него Эспера Михайловича.

— Ага! заметил, старый грешник? Внучка Гудауровой. Знаете — известная богачка.

— Представьте меня ей.

— Мы прежде к бабушке.

— Давно они приехали сюда? — расспрашивал Войновский шедшего с ним под руку

Эспера Михайловича.

— Уже два месяца.

— Гудауровы... Гудауровы... — задумчиво произнес Войновский, — мой брат двоюродный... кажется, женат на Гудауровой...

Марья Львовна подтвердила его догадку, напомнив, что даже знавала его еще юношей.

— Мы, значит, родственники... отчасти... и я прихожусь дядей вашей прелестной внучке?

— Она действительно прелестна... прелестна и умна, — с гордостью добавила Марья Львовна.

— Сейчас веду знакомить, — предупредительно сообщил Эспер Михайлович.

Хрустальная чаша уже была опорожнена. Вальс кончился, и целая гурьба молодых офицеров кольцом оцепила киоск. Они стояли с полными стаканами, сверкая молодостью и золотом эполет, и, громко смеясь, говорили все почти в одно время.

— Однако здесь не проберешься, — раздался среди общего гама чей-то бархатный, низкий голос.

Ненси, вся улыбающаяся, оживленная,

подняла глаза и сразу потупила их, от неожиданности. Перед нею, среди расступившейся молодежи, стояла статная фигура Войновского, под руку с Эспером Михайловичем.

— Я вам привел нашего льва, — проговорил он с некоторой хвастливостью.

— Ну, ну, зачем так страшно? — остановил его шутливо Войновский. — Так можно испугать... Позвольте представиться: фамилия моя вам не совсем чужда, так как ее носит ваш ба-тюшка... И, что мне было особенно приятно сейчас узнать — мы с вами даже родственники.

— Да, да! — подхватил Эспер Михайлович. — Прошу быть почтительной племянницей.

— Довольно, если снисходительной, — любезно поправил его Войновский — Однако мы здесь — чтобы благотворить, не правда ли? Я вижу у всех полные бокалы — позвольте и мне...

Он небрежно, но с достоинством наклонил свою красивую голову.

Ненси, наполняя стакан, неловко плеснула на розовый атлас стола киоска.

— Ой-ой-ой, какое полное счастье, если верить предрассудкам! — воскликнул Войновский, принимая с поклоном стакан из ее рук.

— Но всякое открытие чем-нибудь знаменуется. Позвольте же ознаменовать и наше так неожиданно открывшееся родство: я хочу чокнуться с вами...

— Да! да! да!.. мы просим тоже! — раздалось кругом.

— А вы еще не чокались? Ой, господа!.. Какая же вы молодежь!.. — укоризненно покачал головой Войновский.

Растерявшаяся Ненси вопросительно смотрела на Эспера Михайловича.

— Да, да, нельзя! — подхватил тот торопливо и сам налил ей бокал.

Ненси, конфузясь, чокнулась с Войновским и в замешательстве выпила залпом.

— Вот это от сердца! — весело воскликнул Войновский. — Но я хочу быть справедливым: за что же обижать столь милых молодых людей? — он указал на офицеров: — вам нужно чокнуться со всеми.

— В пользу бедных! — сострил Сильфидов, услужливо протягивая ей бокал.

И Ненси стояла за своим розовым атласным столом взволнованная, недоумевающая; над ее головой колыхались развесистые пальмы, в ушах отдавался звон чокающихся хрустальных бокалов, а на нее прямо в упор смотрели два черных огненных глаза.

Ненси привыкла читать в глазах мужчин восторг и затаенную страсть, но это был совсем другой, незнакомый ей взгляд — созерцающий, пронизывающий, властный...

Преодолев свою робость, она, в первый раз, прямо и открыто взглянула ему в глаза, а в ответ на ее взгляд, в глубине его темных зрачков, блеснул и загорелся страстный, злоедающий огонь.

Никто не заметил этой неуловимой мимической сцены, никто, кроме везде поспевающего и всевидящего Эспера Михайловича.

«Клюнуло!» — подумал он с легкой иронией.

— Ты не устала, *chère enfant*? — озабоченно спросила Марья Львовна, подойдя к киоску в сопровождении вице-губернатора.

— Нет, бабушка, мне страшно весело!

— Ну, веселись, дитя, не буду тебе мешать.

И Марья Львовна, величественно волоча шлейф своего изящного серого платья, поднялась, по обитым красным сукном ступенькам, на возвышение, где помещался главный буфет. Очаровательные дамы имели несколько усталый вид и уже не так ретиво предлагали своим гостям чай и бисквиты. Губернаторша с трудом боролась со сном, но твердо решила перетерпеть все до конца «ради бедных». Ее муж сидел тут же. М-ме Ранкевич успела ему сделать, в проходной гостиной, короткую, но чувствительную сцену, по поводу неудачного аллегри. И хотя в это время комната была пуста и все были заняты танцами, но он очень боялся чуткого уха какого-нибудь таинственного соседа, охотника до чужих секретов, и потому сидел теперь злой и нахохлившись, как индейский петух. Появление Марьи Львовны всех сразу оживило — ждали крупного куша.

— Простите, je suis un peu en retard[135], — извинилась она.

Затем, приняв из рук жены полкового командира синюю севрскую чашку с полухолодным чаем и положенный на тарелочке самой

губернаторшей кусочек английского кекса, Марья Львовна любезно передала ей сторублевую бумажку.

— Бал очень, очень удался.

— Да, да — поспешно подхватила вице-губернаторша, еще молодая, но чрезвычайно толстая, страдающая одышкой дама.

— Жорж, — обратилась она к своему мужу, — ты, кажется, говорил, что у крющона около тысячи?

— Потом цветы... аллегри... наш буфет...

— Пожалуй, тысячи четыре соберется! — уныло пробормотал губернатор.

— Дай Бог, дай Бог! — сентиментально вздохнула губернаторша.

В зале танцевали вечно юную, неувядаемую мазурку. В нише, задрапированной желтым штофом, у широкого полукруглого окна, стоял Ранкевич с городским архитектором Заеловым и, держа его за пуговицу фрака, тайно с ним беседовал, при чем его единственный глаз выражал немалое беспокойство.

— Так сено, говорите вы, гнилое? — спрашивал Заелов.

— Да, т.-е., попросту, меня надули — вся партия оказалась гнилая... Прельстили дешевой визной...

— Н-да... неприятно, — хитро усмехнулся в свою русую бородку архитектор.

— Не знаю, что и делать... надули в лучшем виде.

— Есть у меня один такой... субъект, — небрежно будто обмолвился Заелов, глядя рассеянно на танцующих и играя кистью тяжелой портьеры. — Конечно, надо дать процент приличный...

Глаз Ранкевича загорелся радостью.

— Устройте, дорогой, — шепнул он торопливо. — Вы знаете... весной... насчет проекта хлебных магазинов... в долгу я не останусь.

Скрипачи, напрягая последние силы, старались удержать веселое настроение бала до конца; но их усталые руки с трудом водили по струнам.

Белые, розовые, желтые, голубые воздушные платья дам имели уже несколько поблекший вид... Полурастрепанные прически, утомленные глаза, ленивые, рассеянные улыбки... Бал приходил к концу.

«Мне было весело сегодня, — писала мужу
вернувшаяся домой Ненси, — и весело, и
страшно, не знаю почему»...

XIII.

На другой день Войновский явился с визитом. Просидел около часу и откланялся, получивши приглашение Марьи Львовны бы- вать запросто, по родственному. Вскоре он воспользовался этим приглашением, как-то вечером, но пробыл тоже очень недолго.

— Какой очаровательный!.. — говорила о нем Марья Львовна.

А Ненси не знала, что ей делать: сердиться, обижаться или радоваться. Ее поражал стран- ный, как бы официальный тон его визитов. Перед нею был другой человек — не тот зага- дочный, чарующий Войновский, встреча с ко- торым так взволновала ее на балу. От этого веяло холодом и какою-то напускною сдер- жанностью. Однако, скоро все переменялось. Войновский стал каждый день посещать пре- лестный особняк, предпочитая, впрочем, день вечеру, когда гостиную Гудауровых наводня- ли обычные посетители. Он сумел сделаться необходимым и бабушке, и внучке. С ним со- ветовались, ему передавали подробно о всех мелких событиях дня, его посвящали в планы

будущего, познакомили с воспоминаниями прошлого. А когда раздавался у дверей его уверенный, порывистый звонок, Ненси первая спешила ему на встречу. Он нежно целовал ее ручку или изредка «беленький, хорошенький лобик», позволяя себе эту вольность в качестве старого, доброго родственника. Он иногда пропускал день-два; тогда к нему тотчас же посылалась записка с вопросом о здоровье, а лучистые глазки Ненси блестели еще приветливее при встрече.

Он вел свою атаку спокойно, смело, как ловкий шахматный игрок, предвидя наперед все ходы, готовя верный шах и мат неопытному противнику.

Ненси любила его плавную, бархатную речь, полную остроумия; любила просиживать с ним часы, болтая, весело смеясь, толкуя о любимейших произведениях искусства, уносясь мыслью в далекие знакомые музеи, или пыталась, при его помощи, разрешать сложные вопросы жизни, становившиеся для нее с каждым днем все загадочнее, заманчивее и интереснее. Она, как бабочка, летела на огонь, не замечая той властной силы, что

больше и больше сковывала ее свободу.

Однажды, сидя с ним в своем уютном голубом будуаре, она рассказала ему историю своей любви и замужества. Он взял ее за голову и нежно поцеловал ее в лоб.

— Бедная, бедная крошка!..

Она рассердилась, хотя ей было очень приятно, что он пожалел ее. Да!.. она — бедная!.. и он сказал ей то же, что говорила когда-то бабушка и что за последнее время особенно жгуче стала ощущать сама Ненси... Она — бедная: она отдала свое чувство мальчику, который не сумел даже должным образом оценить его. При первом же столкновении с жизнью, он предпочел разлуку маленькой сделке с самолюбием... Да, Ненси очень, очень несчастна!

...А он говорил еще много-много: и о том, что жизнь коротка, и о том, что счастье — только в любви. В самой природе — в этом вечном движении, в непрерывном обмене веществ — страсть, повсюду страсть, всеильная, могущественная!.. Его голос звучал то нежно, то восторженно, то опускался до шепота. Голова с седыми кудрями наклонялась к

ней все ближе и ближе, а черные, отуманенные страстью глаза влекли в себе неотразимо...

Руки Ненси, помимо ее воли и сознания, обвились сами собою вокруг его шеи, и она почувствовала на своих губах прикосновение его горячих губ... В глазах потемнело, сердце точно сдавили железные тиски... Она слабым усилием оттолкнула его от себя.

— Как только выпадет первый снег, я буду совсем, совсем счастлив, — заговорил снова Войновский, пожимая нежно ручку Ненси. — Зима нынче что-то запоздала, а уж декабрь на дворе.

Не долго, впрочем, пришлось ждать желанного снега. Как-то, утром, Ненси, проснувшись, увидела улицу, сплошь покрытую белым, пушистым покровом. Снег шел всю ночь.

— Ну, снег выпал — и мы едем кататься, — объявил Войновский, входя с оживленным, радостным лицом. — Едем сейчас; я выпросил у бабушки малютку Ненси.

— Сейчас?

У Ненси затрепетало сердце; она убежала к

бабушке.

— Борис Сергеевич, я вам ее поручаю — смотрите, чтобы не простудилась, — озабоченно внушала Войновскому Марья Львовна.

У подъезда стоял вороной рысак, запряженный в щегольские маленькие санки.

— Я без кучера, буду править сам, — это веселее, — сказал Войновский. — Ступай домой и напхни Матвею, что сегодня за обедом — чужие. Обед будет в половине седьмого, — приказал он высокому мужику, державшему лошадь под уздцы.

Ненси прыгнула в сани. Снег шел мягкими хлопьями, капризно кружась в воздухе; пятиградусный морозец приятно пощипывал кожу.

Взрывая девственный снег, поскрипывая полозьями, быстро мчались сани по отдаленным улицам и, наконец, выехали за город.

— Какая прелесть! — восхищалась Ненси, указывая на поля. — Сколько поэзии в этом белоснежном просторе!

Спутники ехали уже около часу. Показалась опушка соснового леса, резвой синеватой полоской обозначившаяся на горизонте.

— А вот и наш приют, — указал Войновский на хорошенький резной домик, с балкончиком и бельведером, словно прильнувший к лесу.

— Зачем? — испуганно спросила Ненси.

— Чтобы отдохнуть и согреться... выпить стакан вина.

— Ах, нет, нет, нет, — не надо!

Войновский улыбнулся.

— Вот так трусиха!.. Ведь я не волк — не съем Красную Шапочку... Это мой охотничий домик и всеми в городе очень любимый. Когда устраивают пикники, обыкновенно здесь сервируют завтрак или ужин и пресветло проводят время... Но... не желаю быть навязчивым!.. — с некоторым раздражением добавил он. — Не хочет прелестная племянница посетить мою хибарку — Бог с нею!.. Доедем только взглянуть хотя снаружи.

Он пустил шагом вспенившуюся лошадь, лениво бросив возжи.

Ненси почувствовала себя виноватой, и любопытство, смешанное со страхом, волновало ее молодую грудь. В самом деле, что же тут дурного, если войти?.. Это так интерес-

но — похоже на экскурсию... Она осматривает какой-нибудь достопримечательный дом!..

— Там много редких вещей, — точно ответил на ее мысли Войновский. — Старинные картины, бронза, мебель и целая коллекция настоящих кружев. У меня мать была любительница, но после я собирал еще и сам.

Сердце Ненси усиленно билось; она упорно молчала. Неясная, но упрямая мысль давила мозг. По мере приближения в домику, взгляд Ненси становился все мрачнее и мрачнее.

— Ну, вот мы и у цели, — грустно вздохнув, произнес Войновский, когда сани подкатились в крылечку с резной решеткой и навесом. — «Поцелуем пробой и поедем домой», — пошутил он. — Прикажете повернуть? — и он натянул уже правую возжу.

Ненси вспыхнула.

— Ах, нет, нет! Я хочу посмотреть... кружева, — договорила она смущенно и тихо-тихо.

Войновский, как бы нехотя, стал отстегивать полость, помог Ненси выйти из саней, достал из кармана американский ключ и отворил тяжелую дубовую дверь. Дверь захлоп-

нулась, и Ненси, смущенная, очутилась в высокой, темноватой передней.

Со стены тянулись развесистые, причудливые олени и лосиные рога; голова дикого вепря свирепо показывала свои белые клыки; большой бурый медведь, разинув пасть, опирался на суковатую дубину, и, распустив пушистый хвост, вытягивала свою хитрую мордочку рыжая лисица.

— Ой, как здесь страшно! — пролепетала Ненси совсем по-детски.

Войновский сбросил с себя шубу.

Приблизившись к ней, он стал расстегивать ворот ее шубки. Руки его слегка дрожали — он был взволнован.

— И придумают же эти женщины такие невероятные крючки! — смеялся он деланным смехом.

Когда упрямый крючок соскочил с петли, Войновский порывистым, нетерпеливым движением стащил шубку с плеч Ненси.

— «Привет тебе, приют прелестный!» — пропел он приятным баритоном, приподнимая тяжелые гобеленовые драпри. Такие же гобелены сплошь покрывали стены шести-

угольной комнаты, куда ввел Войновский свою гостью.

По середине стоял дубовый, с выточенными фигурами стол, окруженный высокими старинными стульями. Шесть стрельчатых готических окон своими разноцветными стеклами придавали комнате несколько мрачный, таинственный характер. На столе красовалась серебряная, великолепной работы ваза — Бахус, держащий в руке хрустальную чашу. Янтарный ананас горделиво поднимал свою перистую зеленую голову; ароматные дюшессы лепились вокруг него, оттеняемые прозрачными гроздьями винограда. В старинной грани кувшине, с серебряной ручкой, искрилось вино, а из стоявшего тут же серебряного ведра аппетитно выглядывала бутылка шампанского.

Ненси отступила в смущении.

Он слегка обнял ее гибкий стан.

— Ну, пойдем осматривать мое хозяйство.

Дом был точно заколдованный. Люди в доме отсутствовали.

Когда они вернулись в гобеленовую комнату, Войновский усадил Ненси в одно из рез-

ных кресел.

— Впрочем, здесь неудобно...

Ненси действительно было неловко сидеть в глубоком кресле, с его высокою, твердою спинкой.

— Дитя мое, там будет лучше — на софе.

Ненси послушно перешла на широкую, покрытую гобеленовым ковром софу; а он, поставив на низенький столик тарелку с фруктами и вино, присел тут же, на небольшой табуретке.

— Вам так неловко, — проговорила Ненси, не зная, что сказать.

— Нет, милая, мне хорошо...

— Кто это все здесь приготовил?.. точно в сказке!..

Немного прозябшая Ненси с наслаждением прихлебывала вино.

— И какое славное вино!..

— Правда?.. Это — кипрское, настоящее кипрское! А приготовил все Афанасий, мой бывший денщик. Он здесь живет, при доме. У меня тут и погреб... всегда есть все припасы. Я часто останавливаюсь здесь, после охоты, отдохнуть... И, как видишь, дитя мое, люблю

полный комфорт.

Он потрепал ее по щечке. Ненси немного отстранилась.

— Что ты точно чужая сегодня? Вот чудачка-то!.. Не хочешь оставаться здесь, так поедем домой.

Он, недовольный, встал с места и ходил по комнате, напевая вполголоса.

Ненси сама почувствовала, что она какая-то чужая, и этот такой близкий ей человек, без которого, за последнее время, она дня не могла провести, он тоже ей совсем, совсем чужой... а уйти не хочется.

— Так едем?

Войновский остановился перед нею в выжидательной позе и глядел куда-то, поверх ее головы, равнодушными глазами.

Ненси приподнялась и снова села.

— А... а кружева?.. — щеки ее зарделись.

— Вот то-то, глупенькая! — засмеялся Войновский.

Он опустился рядом с нею на софу и, обняв ее одною рукою, другою поднес стакан к ее губам.

— Выпей лучше еще винца; ведь это —

кипрское... нектар... понимаешь? Ну, чокнемся и... пей! О, это — верный, верный друг! — воскликнул он, опоражнивая свой стакан. — Все... все изменит... женщины, друзья... а это — никогда!.. Странно — ты не любишь вина... Я научу тебя любить его!.. Ах, да!.. Я и забыл...

Он с необычайною ловкостью вскочил с места, отпер низенький дубовый шкаф и бросил на колени Ненси целую грудку нашитых на атласные полосы кружев. Как о живых людях, рассказывал он историю каждого кусочка этих кружев, а Ненси, проникаясь, с благоговением всматривалась в тонкие паутины причудливых узоров. Вдруг она смутно вспомнила о муже.

— Пора домой!.. — проговорила она спешно.

— До-м-ой? — удивленно протянул Войновский. — Но ты еще не выпила шампанского за мое здоровье... Ты меня кровно, кровно обидишь!

Он ловким, привычным движением откупорил бутылку.

— Выпьем, дитя, за наш первый поце-

луй! — произнес он, с блестящими глазами. Он был поразительно красив в эту минуту.

Ненси печально покачала головой.

Он крепко, судорожно сжал ее холодную руку. Мрачный огонь в глазах Ненси, ее дикость, смущение — раздражали и опьяняли его сильнее вина.

— Эх, милая! Когда тебе будут говорить о муках, о страданиях — не верь! Все это вздор, утопии! Будь весела и праздной праздник жизни!.. Ведь ты меня любишь... любишь... любишь?

Точно могучий вихрь налетел на Ненси, опалил ее щеки. Зажмурив глаза, она бросилась в объятия Войновского, с дикой, безумной тоской отвечала она на поцелуи и ласки, как бы упиваясь их ядом и готовая умереть...

XIV.

По возвращении домой, Ненси нашла на письменном столе письмо от Юрия. Сильно бьющимся сердцем схватила она конверт и положила, не распечатывая, в карман.

После обеда она попросила бабушку почитать ей вслух. Но Жип своим тонким цинизмом несколько не развеселила ее. Она лежала с закрытыми глазами и все думала о комнате с готическими окнами и о нераспечатанном письме, лежащем в ее кармане.

Вечером пришли бабушкины партнеры. Марья Львовна за последнее время пристрастилась в карты.

— Тебе надо немного уснуть, — ты устала от воздуха... Отдохни до чаю.

Бабушка, нежно ее поцеловав, поспешила к своим гостям.

Пришел Войновский. Ненси услышала его голос. Она вскочила и повернула ключ в дверном замке.

Дрожащими руками разорвала она конверт и стала читать. В письме Юрий изливался в восторгах по поводу игры заезжей знаме-

нитости. Он на целых шести страницах самым тщательным образом разбирал исполнение пианистом классических музыкальных пьес. В конце следовала приписка. Юрий извещал, что выедет из Петербурга 22-го, и в сочельник, вечером, обнимет свою Ненси и маленькую дочку.

Из гостиной доносились голоса спорящих за картами. Ненси слышала, как Войновский тихо подошел в двери и нажал ручку. Сердце Ненси забилось сильно-сильно, но она не двинулась с места, с болью прислушиваясь в удаляющимся шагам. Она встала с кушетки, шатаясь, как пьяная. Почти срывая с себя платье, она разделась и бросилась в кровать.

В столовой ее давно уж ожидали в чаю. Встревоженная бабушка сама пришла за нею. Ненси отворила дверь. Ее смертельная бледность перепугала старуху.

— Доктора!.. Сейчас же доктора!

— Доктора не надо! — почти повелительно произнесла Ненси. — У меня просто расстроенны нервы. Пришли мне чаю с вином — я согреюсь и засну.

Выслушав рассказ бабушки о нездоровье

Ненси, Войновский не повел бровью, посоветовав, как самое лучшее средство, оставить ее одну.

Всеведущий Эспер Михайлович, каким-то чудом пронюхавший о катанье, отвернулся, чтобы скрыть двусмысленную улыбку, игравшую на его губах.

На другой день бабушка попросила Ненси съездить вечером к т-те Ласточкиной.

— Ты знаешь, *chère enfant*, седьмой десяток уже дает мне себя знать, приучайся ездить одна — *tu es mariée*[136]. Я так устала, что никого не буду принимать сегодня, и лягу спать пораньше.

«Вечером нас не будет дома», — послала Ненси записку Войновскому, зная, что он непременно придет.

Когда она уже стояла, совсем готовая, надевая шляпку перед зеркалом, он вошел в ее комнату.

— *J'ai deux mots à vous dire.*[137]

Ненси выслала горничную.

— Вот что, — проговорил он торопливо, не глядя на нее и целуя ее дрожащую руку. — Я посижу с бабушкой, а через час ты подъезжай

к казармам — я буду там. Кучера отпусти сейчас — скажи, чтобы за тобой не приезжал.. возьмешь извозчика.

Ненси, с замирающим сердцем, прослушала его торопливое, страстное приказание и твердо решила поступить иначе; но, подъехав к дому Ласточкиной, совершенно неожиданно для себя самой, велела кучеру ехать распрягать лошадей, сказав, что вернется на извозчике.

Она застала директоршу одну.

— Муж, как всегда, в своем противном клубе, — заявила Ласточкина желчно. — Ах, моя прелесть, как мило, что вы заехали!.. Вы знаете, чем я была занята сейчас? — Она указала на ворох печатных и литографированных пьес. — У нас, в «Кружке», — спектакль, в январе... так выбираю пьесу... Но, просто беда, нет ничего подходящего... бьюсь-бьюсь — не нахожу!

— Разве так трудно это?

— Ах, душечка, вы слишком молоды — вам не понять... Тысячи условий: во-первых, — вполголоса сообщила она, — губернатор намекнул, чтобы была подходящая роль для т-

те Ранкевич. Это нам всем так неприятно, но делать нечего — надо ему угодить! Я выбрала «Цепи»... Знаете «Цепи»? Это очень, очень хорошая пьеса... Я хотела вас, мой ангел, просить сыграть там девочку — прелестнейшая роль. Но, вот, послушайте, какое затруднение; там две главные роли: безнравственная и нравственная. Предложить безнравственную m-те Ранкевич — она может обидеться, примет за намек; играть безнравственную мне — невозможно: она должна быть старше m-те Ранкевич, а я в жизни, а на сцене — тем более, гораздо ее моложе, гораздо subtilнее. Вот тут и разберись... Я просто голову теряю!

Ненси рассеянно слушала сетования потерявшей голову директорши.

Из столовой раздался мерный бой часов... Девять! Ненси поспешно встала.

— Куда вы так рано? И без чаю! — удивилась Ласточкина.

— Я уже больше часу у вас, — точно извиняясь, торопливо проговорила Ненси. — Я опять скоро, скоро приеду к вам, а теперь мне надо... еще в одно место...

В лихорадочной тревоге, вся трепещущая,

бросилась Ненси на улицу.

С тех пор Ненси стала чуть не каждый день и под разными предлогами отлучаться из дому. Бабушка зорко следила за нею, угадывая причину, но не решаясь показывать вида: «Что делать? В жизни женщины это неизбежно». Бабушка была только очень обижена неоткровенностью Ненси...

Горячечным сном пролетел для Ненси декабрь — и наступил канун сочельника.

С утра Ненси овладел панический ужас. Нескоро одевшись, она отправилась в комнату к бабушке.

Марья Львовна сидела перед большим зеркалом, прикалывая чепец.

— Ты скоро?

— Сейчас... Иди в столовую — я сейчас...

— Нет... нет... мне надо...

Ненси плотно затворила дверь и, быстро подойдя к старухе, опустилась на пол возле нее.

— Бабушка, убей меня!

— Мое дитя! — могла только проговорить ошеломленная Марья Львовна.

— Да, да, убей!.. Я больше не могу!.. Ведь ты

не знаешь!.. ты ничего не знаешь!

И, спрятав голову в складки бабушкина платья, Ненси глухо зарыдала.

— Я знаю все!.. — медленно проговорила бабушка.

— Как?!

Ненси схватилась за голову и смотрела на бабушку почти обезумевшими глазами.

— Как? — стоном вырвалось вторично из ее груди.

— Oh, chère enfant, c'est une histoire bien ordinaire! Tu es femme...[138]

— Как? — прошептала растерянно Ненси.

— При том, il est bien beau[139], — мечтательно вздохнула Марья Львовна, — я это очень, очень понимаю.

— Но... он... родной, — пролепетала Ненси.

— Это родство не кровное.

— А завтра? — совсем уже чуть слышно произнесла Ненси.

— Завтра?.. Будь как можно нежнее — он все-таки твой муж.

— Я убегу!

— Притом, он заслужил...

В глазах Марьи Львовны мелькнул злоб-

ный огонь.

— А ты не виновата, крошка. Мы были все молоды. Молодость бывает только раз — надо ею пользоваться.

Марья Львовна притянула в себе бледную, дрожащую внучку.

— Помни, помни одно: *sois raisonnable*[140]

Ненси ничего не понимала: ее не порицают — нет! ее даже как будто хвалят!.. Бедное сердце то мучительно сжималось, то прыгало, как бешеное, в груди. В голове царил полный хаос...

— Если ты любишь меня — ты будешь держаться умницей, — нежно, но твердо произнес Войновский, прощаясь вечером с Ненси.

Всю ночь Ненси не сомкнула глаз.

XV.

Когда из темной дали показались три огненных фонаря локомотива, Ненси, ходившая по дебаркадеру с Эспером Михайловичем, едва сдержала готовый вырваться из стесненной груди крик. Она судорожно схватила своего спутника за руку.

Гремя цепями, поезд медленно подползал к платформе. Замелькали в окошках лица пассажиров, забегали носильщики, засуетились пришедшие встречать.

С площадки вагона второго класса соскочил высокий, бледный молодой человек, с русой бородкой. Ненси едва узнала в нем Юрия — так он переменялся за эти четыре месяца. Он похудел и сильно возмужал.

— Ненси!.. Ненси!.. Нен-си!.. — крикнул он прерывающимся от волнения голосом, бросаясь в ней, а его серые, лучистые глаза подернулись влагою. — Голубушка, родная!

— Позвольте познакомиться, в качестве близкого друга вашей семьи, — поспешил отрекомендоваться Эспер Михайлович.

— Ах, очень, очень рад, — потрясал его ру-

ку Юрий, не отрывая глаз от Ненси и смеясь безотчетным, ребячьим смехом.

— Голубушка... родная... родная! — повторял он все те же слова, не зная, чем и как проявить свою радость.

Улыбаясь приветливо и грустно, Ненси едва держалась на ногах.

— Какая ты стала красавица!.. — с восторгом воскликнул Юрий. — Еще лучше, чем прежде!

— Однако, где же ваши вещи?.. надо вещи... багаж... — суетился Эспер Михайлович.

— Да... да... да...

Но Юрий вдруг весело неудержимо засмеялся.

— Да что же я? Ведь у меня вот только что в руках — я весь багаж.

— Так едем, едем поскорее!

— Привез! — с торжественностью доложил Эспер Михайлович ожидавшим в столовой Марье Львовне и Войновскому.

Дверь настежь распахнулась.

— Здравствуйте, бабушка! — и Юрий, с светлым, радостным лицом, поцеловал у старухи руку.

— Здравствуй, здравствуй, — несколько сухо, хотя любезно ответила Марья Львовна.

— А вот, — она округленным жестом показала на Войновского, — вот познакомься: наш родственник и друг — Борис Сергеевич...

— Прошу любить и жаловать, — откликнулся Войновский.

Юрий, с благодушным видом, потянулся поцеловаться с ним.

«Да это совсем щенок, не стоящий внимания!» — подумал Войновский, не без некоторого ревнивого чувства разглядывая лицо и угловатую фигуру молодого человека.

Юрий беспокойными глазами искал Ненси. Она вошла немного неуверенной походкой и, потупив взор, села за стол.

— Ну, присаживайтесь к вашей молодой супруге, — развязно проговорил Войновский, стараясь придать как можно больше добродушия своему тону.

— Как же твои музыкальные дела? — спросила Марья Львовна, подавая Юрию стакан горячего чаю.

Молодой человек стал с увлечением рассказывать о своих занятиях, о профессорах, о

личных впечатлениях, и радостных, и неприятных. Он быстро перескакивал с одного предмета на другой, то снова возвращался в старым, то забегал вперед.

— Ваш чай, — предупредительно напомнил ему Эспер Михайлович.

— Ах, да! — прищуриив свои близорукие глаза, Юрий отхлебнул из стакана и с тем же жаром принялся опять рассказывать.

Ненси слушала его жадно, любовалась его детски-откровенной улыбкой, и прежняя, маленькая Ненси, у обрыва, точно снова воскресла в ней; но... черные глаза сидящего против нее человека слишком красноречиво напоминали ей о действительности. Ненси чувствовала на себе их властный, пристальный взгляд, и ее юное бедное сердце замирало перед ужасом роковой правды.

На другой день приехала Наталья Федоровна из деревни. Марья Львовна, скрепя сердце, предоставила в распоряжение гости свой кабинет, которым, впрочем, сама никогда не пользовалась.

— Не могу сказать, чтобы присутствие этой прелестной родни меня особенно радо-

вало, — откровенно признавалась она Войновскому.

Целый день беспрестанно раздавались звонки. Близкие знакомые спешили принести свои поздравления, а еще незнакомые близко, но жаждущие войти в дом — пользовались удобным случаем явиться в первый раз с визитом.

Пока Ненси с бабушкой принимали в гостиной сановных и несановных посетителей, Юрий сидел, вместе с матерью, в детской у маленькой Муси.

Наталья Федоровна нашла в сыне перемену к лучшему.

— Это ничего, голубчик, что ты похудел: занимался сильно — это естественно... Твой бодрый дух меня радует — вот что! А тело мы с тобой нагуляем летом.

Несмотря на просьбы Ненси, Юрий не захотел выйти в гостиную.

— Оставь его сегодня, милая, — говорила Наталья Федоровна, нежно целуя Ненси, — ведь он устал с дороги; времени еще много впереди.

А Юрий, с первого же дня, почувствовал се-

бя точно чужим в этом родном для него доме. Он так, за последние четыре месяца, привык в своей крошечной, скромной, с роялем, комнате, к одиночеству и тишине, что гам и сутолока светской жизни, в какую он сразу попал, хотя не принимая участия, как бы оглушали его, и в вечеру он почувствовал себя совсем точно разбитым. Последующие дни были тоже неутешительны. В доме вставали поздно, пили кофе, завтракали, затем начинались всевозможные посещения. Являлись нарядные дамы и мужчины; знакомясь с Юрием, они считали своей обязанностью надоедать ему расспросами о консерватории и восхищаться музыкой. Казалось, всем этим людям решительно больше нечего было делать, как только одеваться нарядно и ездить с визитами. Но больше всего возмущала Юрия личность Эспера Михайловича. Уже в утреннем кофе раздавался его порывистый звонок, он влетал в столовую, сообщал, захлебываясь, все животрепещущие новости, выпивал чашку кофе и исчезал; иногда снова появлялся к обеду, иногда пропадал до самого вечера и, видимо утомленный проведенным днем, уса-

живался за безик с Марьей Львовной.

Тоскливо слушал Юрий скучное пение Лигуса и чувствительные разглагольствования о своих добродетелях Нельмана, и восторги Ласточкиной по поводу удачно найденной, наконец, пьесы, и ее злые, несносные сплетни про всех и про вся; с удивлением и любопытством смотрел он на странную полубогиню Серафиму Константиновну, как-то важно, нехотя, сквозь зубы, роняющую слова, и на полковника Ерастова.

Все эти люди казались ему такими далекими от настоящей правды жизни, совсем ненужными и неизвестно зачем и для какой цели живущими за свете!.. Да и сама Ненси, его прелестная, милая Ненси, стала точно совсем другою. То возбужденно веселая, то капризно плаксивая, — то будто избегала она его, то осыпала порывистыми ласками.

«И все это от бестолковой, праздной жизни», — думал он с болью в сердце.

Ему хотелось поделиться с кем-нибудь своими тяжелыми, печальными думами, но какой-то внутренний инстинкт останавливал его говорить об этом с матерью. Напротив, он

старался казаться перед нею веселым и беззаботным.

Наталью Федоровну изумляло в нем одно — он почти не притрогивался в инструменту.

— Что же ты не играешь совсем? — спрашивала его встревоженная этим обстоятельством мать.

— Я устал просто, — успокоивал он ее. — Праздники теперь, наиграюсь еще, — ведь я не меньше шести часов играю ежедневно.

— Ненси, когда я кончу курс в консерватории, я бы хотел жить совсем иначе, — сказал он раз серьезно жене, когда они сидели вдвоем в ее голубом, нарядном будуаре. — Такая жизнь, по моему, безнравственна... Ведь ты со мной согласна, Ненси? да? — допрашивал он ее, волнуясь. — Ведь это все не нужно — правда?... Все эти экипажи, лошади, кареты, лакеи, повара?...

Ненси упорно молчала.

— По моему, так жить не хорошо!.. Душа, ты понимаешь, — душа тут погибает...

И он смотрел на нее полными ожидания и муки глазами, не понимал ее молчания и му-

чился им.

А Ненси, хотя и наряжалась, и принимала гостей, и выезжала, и даже решилась взять маленькую роль, для предстоящего любительского спектакля, — переживала адские муки в душе. Как ребенок, боящийся темноты, бежала она от себя самой, от того страшного, что неотступно давило ей грудь. Все было напрасно. Оно, это страшное, не повидало ни на минуту, упорна и зло точило сердце, мозг!..

Войновский был с нею почтителен и холодно любезен, ни разу не поцеловал у нее даже руки, и Ненси была ему за это благодарна. Напротив, все свое внимание он обратил на Юрия, но его предупредительная доброта стесняла молодого человека, и тот как-то безотчетно сторонился от этого блестящего, красивого господина, находя его в то же время интересным.

Тяжелым кошмаром пролетели для Юрия двухнедельные каникулы, и он уехал измученный, недоумевающий, твердо решился работать, не покладая рук, чтобы скорее стать на ноги и вырвать Ненси из этой сокрушаю-

щей его обстановки.

«Ненси, Ненси! — писал он ей из Петербурга, сейчас же по своем приезде. — За эти две недели нам не пришлось ни разу поговорить как следует. Ты от меня точно ушла куда-то; а если бы ты знала, как много хотелось сказать, как многое теперь рвет на части мне грудь, не находя исхода. Я не хочу стеснять твоей свободы, я не хочу навязывать своих симпатий, взглядов... я могу только просить, умолять. Я молод, я так же мало знаю жизнь, как ты, или немногим больше; я только чувствую душой, что там, где ты живешь, что те, среди которых ты живешь — забыли, потеряли правду. Я чувствую, что есть что-то в нас высшее, чем жалкая земная оболочка, и это высшее, во мне, зовет тебя теперь, тоскует о тебе... Ненси! вернись такою, как была, — стань прежней»...

Ненси читала и перечитывала это письмо, обливая его слезами, не зная, что ей отвечать. Но, пересилив свое волнение, она присела в письменному столу и с болью в сердце, с обращением к самой себе, написала короткий, успокоительный ответ.

Она провела несколько мучительных ночей, и Войновскому стоило много труда, чтобы снова все вошло в прежнюю волею.

— Послушай, — говорила ему Ненси, в первое их возобновленное свидание, в охотничьем домике, куда они приехали, ловко исчезнув с танцевального вечера, где Ненси была, на этот раз, без бабушки, — ведь так продолжать нельзя... скажем все, и я уйду к тебе!

— Что же будет дальше? — мрачно спросил Войновский.

— Я... я не знаю... Ну, берут развод... ну, женятся... Это все же честнее...

— Ты думаешь — так это все легко?.. Да, наконец, я не считаю себя вправе... Да! не считаю себя вправе, — подтвердил он горячо, видя полные недоумения и испуга глаза Ненси. — Это ли не эгоизм: старик, идущий к склону жизни... Ну, пять-шесть лет, ну, — десять... Что же дальше?.. И ради этого разбить семью, чужие молодые жизни? Да я себя бы не уважал!.. Ну, наконец, хорошо! Представь себе: я был бы так слаб духом, что допустил бы все это безумие. Ты можешь поручиться за исход? Ты можешь поручиться, — повторил

он с еще большею силой, — что этот мальчик не выдержит удара и не пустит себе пулю в лоб? — возвысил он чуть не до крика свой голос.

Ненси вся похолодела.

— Тебе, конечно, подобная картина не приходила в голову? — продолжал он нервно и торопливо. — Ну, так представь себе: какое же возможно счастье, когда между людьми стоит мертвец?!

Ненси слушала его, ощущая какую-то неуловимую фальшь, но слова были полны такого благородства, голос дрожал, в глазах горел огонь... Да! Это был мученик, жертвующий своим счастьем во имя чужого благополучия.

— Люби меня! — прошептала она, задыхаясь от ужаса и смятения. — Чем больше я преступна, тем больше ты люби меня!

XVI.

Разорение одного богатого, титулованного землевладельца, еще недавно получившего крупный куш из дворянского банка, для управления своих дел, взволновало губернские умы.

— Ужасно! ужасно!.. — кипятился вечером у Марьи Львовны Эспер Михайлович. — В какое время мы живем!? Имена разорены, купец восседает на прадедовских креслах, мужик топит печь фамильными портретами!.. И говорят: «поднять дворянство»!.. Нет, поздно-с! Ни ссудами, ни банками теперь уж не поднимешь!..

— Положим, этот господин во всем виноват сам, — вмешался в разговор Войновский, сидевший поодаль, возле Ненси.

Он встал и подошел к группе обычных завсегдатаев гостиной Марья Львовны.

— Ведь ссуда выдана была ему на дело, а он отправился в Монте-Карло... Кто же виноват?.. Культуры деловой в нас еще мало... Наружное все, показное... дикарь еще в нас живет... вот что! Татарщина!.. вот в чем беда!

— При чем же тут татарщина?

— Нет равновесия культуры, эстетики ума, — устойчивости нет!..

— Крестьянская реформа преждевременна — вот что! Вот причина всех причин! Наш сиволапый слишком сиволап!.. — злобно ораторствовал Эспер Михайлович. — Помилуйте, я про себя скажу: я человек не злой, — но даже не могу теперь, без негодования, проехать мимо моего бывшего имения. Купили у меня крестьяне... вчетвером... Ведь сердце кровью обливается: из дома сделали амбар, весь сад вырублен!.. Великолепные дубовые аллеи, кусты жасмина и сирени. Ни кустика, ни пня!..

— Что же, я их не виню, — спокойно произнес Войновский. — «Печной горшок ему дорожке, — Он пищу в нем себе варит!» — продекламировал он.

— Но, cher, я вас совсем не понимаю, — возмутилась Марья Львовна. — Неужели вы не согласны, что наш мужик действительно, un être malheureux, полуживотное, — un animal terrible![141]

— Все будет в свое время, — шутливо успокоивал ее Войновский.

— Такое равнодушие граничит с нигилизмом, — наставительно пробасил Нельман. — Ведь этак до того можно дойти, что станешь отрицать религию, музыку и нравственность.

— До полной душевной апатии, — вставил скромно свое слово беленький, тихонький Крач.

— Напротив, я слишком люблю жизнь, как наслаждение, и просто не хочу себя ничем неприятным тревожить.

— Но есть сверхчувственное, что выше ординарной жизни, что служит символом иных, безбрежных наслаждений, — изрекла Серафима Константиновна, щуря свои прекрасные глазки.

— О, нет, я этой мудрости боюсь, — засмеялся Войновский. — Я жажду чувств земных и ощущений более реальных.

— Ведь так не далеко дойти и до животного, — уже более смело заметил Крач, желая поддержать жену, перед которой благоговейно преклонялся.

— Ну, что же? Я ничего не имею против этих, в своем роде, милых созданий, — все в том же небрежно-шутливом тоне продолжал

Войновский. — Животное!.. Мне кажется, что человек уже чересчур самонадеян, и если бы в нем не было животного — жизнь стала бы невообразимо скучна; но если вы отнимете культуру — инстинкты будут слишком грубы... Вот в известном сочетании этих-то двух начал и заключается наука жизни. Таков мой взгляд!..

— Mon cher, да вы толстовец!.. — захохотал Эспер Михайлович, знавший это слово только как модное и, очевидно, не понимавший его истинного значения, также как и смысла эпикурейской философии Войновского.

— Ах, cher, не вспоминайте мне! — горячо вступилась Марья Львовна: — этот Толстой и это... «не противься злу» всегда меня выводят из себя... Сама я не читала и читать не буду, но это так нелепо...

— И очень, очень вредно!.. — подтвердил глубокомысленно Ерастов. — Я видел на примере: один мой офицер... исправный офицер... читал, читал, и начитался разных там... идей. Представьте, что же выкинул: вышел в отставку, купил какой-то хутор, — живет теперь отшельником... Жена в отчаянии!..

— И наш Игнатов — пример перед глазами!.. — затараторил Эспер Михайлович. — Роздал имение, устроил какое-то братство, поучает, развивает... совсем с ума сошел!.. И тоже начитался...

— О чем вы задумались? — раздался над головой Ненси, покачивавшейся в качалке, нежный голос Серафимы Константиновны. — Вы так были сейчас красивы в своей задумчивой позе. Мне страшно жалко вас, — продолжала она, под шум несмолкающего разговора, — в вас столько поэтической неосвязаемости... а жизнь вокруг идет таким обычным ритмом... все это так обыкновенно!.. — и ее узенькие плечи вздрогнули, а на лице явилось выражение брезгливого недовольства. — Мне все и вся противно, а вас мне жалко!..

Ненси, движимая чувством благодарности, протянула ей свою маленькую ручку, на что Серафима Константиновна ответила мягким, теплым пожатием.

— Когда я буду с вас писать, когда мы обе, переживая настроение, уйдем далеко от всей этой ничтожной, не оригинальной жизни, — тогда поймете вы, что есть минуты бесконеч-

ного и на земле... Вы понимаете меня?.. Минуты бес-ко-нечного!.. А где конец — там нет иллюзии, там нет блаженства!..

Ненси было грустно, и ее приятно баюкала туманная, непонятная ей речь странной Серафимы Константиновны.

Городская жизнь, в этом году, изобиловала событиями, как никогда.

Спектакль m-me Ласточкиной совсем нала-дился, и уже готовились приступить к репетициям; ученики реального училища посла-ли, с разрешения директора, поздравитель-ную телеграмму в Париж, по поводу юбилея одного парижского учебного заведения; в местном университете, в отклик столицам, поволновались студенты; в городе, по этому поводу, ходили таинственные толки о много-численных арестах, на что Нельман только добродушно посмеивался, какая-то наивная, юная фельдшерица, приехавшая на место, только что окончив курс, подала в управу за-явление о возмутительных порядках больни-цы и злоупотреблениях смотрителя, и была выгнана вон за неуживчивость характера; по-говаривали о том, что фонды m-me Ранкевич

значительно пошатнулись и даже указывали ее заместительницу, маленькую, курносенькую блондинку — жену корпусного врача, причем все, даже самые ярые недоброжелательницы m-me Ранкевич, так возмущавшиеся раньше ее поведением, — теперь страшно за нее обиделись и готовы были всячески отстаивать ее права; в загородной слободе какая-то мещанка, в сообщничестве с любовником, утопила в проруби своего пьяного мужа, и тайно было убит, дамой легкого поведения, один из блестящих армейских донжуанов...

...А в охотничьем домике, среди полудеревенской природы, все продолжало совершаться медленное бескровное убийство человеческой души...

XVI.

Жизнь Ненси осложнилась прибавлением новых занятий: начались репетиции любительского спектакля и сеансы у Серафимы Константиновны. Ненси решительно не имела ни минуты свободной.

Серафима Константиновна писала ее лежащею на черной медвежьей шкуре, с золотым обручем на голове и живописно распущенными по плечам волосами. Наверху искусно сгруппированные, редяющие облака изображали голову Юпитера; немного ниже, сбоку, в лучах розового рассвета, на колеснице спускалась Аврора, осыпая розами черный, пушистый мех, на котором лежала Ненси. Картина называлась: «Отдыхающая весна», и художница решила послать ее на выставку в Петербург.

Серафима Константиновна набросала эскиз, чтобы показать его Марье Львовне. Та осталась очень довольна идеей, но нашла изображение «Весны» несколько откровенным и попросила закутать Ненси хотя бы в белый прозрачный газ.

— Все же это будет скромнее. Я покупаю у вас теперь же эту картину... заранее, — прибавила она.

Отчасти по недостатку средств, а главное для большого количества света, супруги Крач забрались на самый верх большого, заново отстроенного, каменного дома. Квартира их помещалась в четвертом этаже. Лучшая комната была обращена в мастерскую, где среди блеклых кусков старинных материй висели эскизы и картины Серафимы Константиновны, изобилующие такими же блеклыми, точно потускневшими красками. Она не любила ничего яркого ни в природе, ни на полотне. Затем имелись: маленькая, небогато, но со вкусом убранная гостиная, столовая и спальня, где возле украшенной балдахином кровати Серафимы Константиновны приютились: простая, скромная кроватка и письменный стол беленького Крача, доводившего до *minimum*'а свои личные потребности, во имя удобств и прихотей талантливой супруги.

Ненси приезжала часов в одиннадцать каждый день, так как художница торопилась работой, боясь потерять «минуту настрое-

ния».

Когда сеанс, в виду светлого дня, затягивался, Серафима Константиновна приказывала подать завтрак в мастерскую и в своем оригинальном сером рабочем костюме, похожем на греческий хитон или римскую тунуку, сама прислуживала «Отдыхающей весне». Изящными, белыми ручками наливала она шоколад в красивые, ею самой расписанные чашки, подкладывала сухарики, очищала грушу или апельсин, не пропуская случая нежно поцеловать свою прелестную «натуру».

Сначала Ненси стеснялась необычностью всей обстановки, но вскоре она привыкла к тому, находя все это забавным и даже интересным.

Репетиции спектакля тоже не особенно ладились. М-ме Ранкевич то капризничала, то вовсе не приезжала, и зачастую, прождав ее напрасно, собравшиеся расходились.

— Бедная!.. Я ее не обвиняю, разрыв почти совершился, — таинственно сообщала Ласточкина, — ей, конечно, теперь ни до чего, она голову потеряла, обращалась даже в отцу Никодиму, чтобы повлиял, — еще таинствен-

нее присовокупляла директорша, — ничего не помогло!.. Однако, что же нам!.. — забыв через минуту свои сожаления, возмущалась она. — У меня тоже главная роль, а мы еще ни разу не репетировали из-за этой злосчастной кривляки!..

В последних числах февраля, совершенно неожиданно, как снег на голову свалилась Сусанна. Не оповестив заранее о своем приезде, она явилась в утреннему кофе, бодрая и свежая, несмотря на три дня, проведенные в вагоне.

Марья Львовна до того растерялась от неожиданности ее появления, что сначала даже как будто обрадовалась непрошенной гостье. Она сейчас же устроила дочь в небольшой угловой комнате, рядом с комнатой Ненси. Пока переносили и ставили на место сундуки, Сусанна успела шепотом сообщить матери, что ее роман с итальянцем кончился очень печально; из ревности этот «brigand» [142] чуть не застрелил ее, и теперь она — «seule» и «abandonnée» [143].

Она сразу вошла в жизнь своей семьи, очаровала своей внешностью и особым складом

заграничной дамы всех друзей и знакомых Марьи Львовны.

— У нас теперь: bébé-charmeuse и maman-charmeuse![144]- восклицал в восхищении Эспер Михайлович.

— A grand'maman[145]? — спросила его слащаво Сусанна, наивно поднимая свои, и без того круглые, черные брови.

— La pins grande de toutes les charmeuses... [146]- нашелся изворотливый Эспер Михайлович.

— Trop vieille déjà, mon cher[147], - произнесла сухо Марья Львовна, недовольная и Сусанной, и этим разговором.

Практическая мамаша предвидела все вперед. Она знала, что Марьей Львовной составлено духовное завещание всецело в пользу внучки, и была поэтому чересчур ласкова и предупредительна с Ненси, видимо заискивая в ней.

Однажды, после обеда, она нежно обняла дочь и, прогуливаясь с нею по большой зале, стала участливо расспрашивать о Юрие, о их отношениях, планах в будущем... сожалела, в то же время, о их настоящей разлуке.

Ненси ножом резали по сердцу все эти вопросы. Она не могла на них отвечать; она только все ближе и ближе прижималась к матери, как бы ища защиты.

— Ты точно боишься меня? — удивлялась ее молчанию Сусанна. — Но я понимаю и не виню!.. Grand' maman всегда меня отстраняла от моего единственного ребенка... Бог ей судья! — и, вздохнув, она даже вытерла тонким, надушенным платком наворачнувшиеся на глазах слезы, вообразив, вероятно, что действительно страшно страдала от разлуки с единственной дочерью.

— Но теперь... теперь, — продолжала она, увлекаясь ролью любящей матери, — *c'est autre chose*; ты взрослая, *une femme mariée*, и мы с тобой можем быть друзьями — *comme des amies*, не правда ли?.. просто как товарищи... Теперь я тебе нужнее, как мать, как друг... Мое присутствие около тебя необходимо... *Assez!* — решила я, довольно! — *j'ai une fille*[148], она зовет меня к себе!

Слова эти задели самые больные струны одиноко страдающего сердца бедной Ненси, взбудоражили все, что лежало на дне ее ис-

терзанной души. Она не почувствовала их фальши, и, припав к плечу матери тихо, жалостно заплакала.

— *Mon enfant chérie, tu pleures?* — воскликнула Сусанна. — *Tu es malheureuse?*[149]

Ненси вздрогнула, закрыла лицо руками и, всхлипывая, убежала в себе.

И в первый раз в жизни ей захотелось материнской близости. Теперь, когда она так одинока, когда она не в силах ни разобраться в сложных, запутанных обстоятельствах, ни уяснить себе, куда идти, что делать — теперь, когда душа ее изнемогала от тоски и горя — как всепрощающий, как верный друг, теперь ей была нужна мать. С этой минуты установилась невидимая, но дорогая сердцу Ненси связь между нею и матерью. Ненси не замечала ни искусно подкрашенных щек Сусанны, ни ее фальшивого слащавого тона — она создала в своей душе какой-то совсем иной облик и носилась с ним, и лелеяла его. Страстное желание высказаться с каждым днем охватывало ее все сильнее и сильнее, точно она ждала для себя спасения в этой исповеди.

И вот, наконец, минута наступила.

Как-то вечером, ложась спать, Ненси, стогорая от стыда и муки, поверила матери тайну своего изболевшего сердца.

Обе они находились в розовой спальне Ненси. Сусанна, в палевом пеньюаре, обильно отделанном кружевами, сидела на маленьком уютном диване. Она задумчиво покуривала папироску и, с наслаждением выпуская колечки дыма из своего пухлого рта, рассеянно слушала взволнованную речь сидящей возле нее дочери.

— Зачем это? Зачем? — воскликнула, в неудержимой тревоге, бледная, вся дрожащая Ненси. — Я хочу знать — зачем?

— Зачем? Oh, pauvre enfant, tu es trop jeune!
[150]

— Точно надвинулось что-то... и нет сил сдвинуть!.. — глухо сказала Ненси. — Камень!.. камень!..

Она беспомощно упала головой на стол.

— О, Боже мой, как все это просто!.. — с легкой улыбкой произнесла Сусанна, продолжая любоваться дымом своей папироски.

— Просто? — Ненси быстро подняла голову. — Она устремила на мать внимательные,

жаждущие ответа, лихорадочные глаза.

— Конечно! Ты только напрасно осложняешь жизнь!.. Ты можешь мне довериться: я мать, я твой друг! Все это очень, очень просто, поверь мне!..

— Просто!.. — с горечью, убитым голосом проговорила Ненси. — А мне так больно!.. Зачем же, если просто?..

Сусанна улыбнулась.

— Ты женщина — *une femme mariée*[151], ты понимаешь... Темперамент!

— Просто? — соображала Ненси, как бы не слыша этих слов: — и бабушка... та тоже... просто...

— Ну, *grand' maman* — другое дело, та вечно была романтична, романы — ее слабость... а я смотрю на жизнь как должно, трезво... Ты понимаешь...

Чувственные глаза Сусанны слегка подернулись влагой.

— Ты понимаешь: *un homme déjà âgé — pour une jeune femme*[152] — ведь это море наслаждения... Вот нам — другое дело, — усмехнулась она загадочно, — когда приходит бабье лето... Ты понимаешь? О, тогда *il faut de la*

jeunesse!..[153]

С ужасом отпрянула Ненси от этой откровенной в своем цинизме женщины... Точно сразу что-то оборвалось в ее душе. Она стала сейчас же поспешно раздеваться и бросилась в постель.

— Tu dors déjà?[154] — раздался над нею сладкий голос Сусанны, и Ненси почувствовала нежное прикосновение ее руки. А Ненси, оставшись одна, долго неудержимо рыдала...

XVII.

Фыркая и отбрасывая рыхлый снег, подка-
тили кони в резвому крылечку охотни-
чьего домика.

Все было уже приготовлено в приеме го-
стей гостеприимным хозяином: в гобелено-
вой комнате их ожидал роскошно сервиро-
ванный обеденный стол. Повар был прислан
с утра. В вазах стояли редкие еще для време-
ни года розы. Запах тонких духов носился в
воздухе. Благоухали и столовая, и стильная
спальня, и маленький зимний сад, где с духа-
ми смешивался свежий аромат растений.

Войновский, не без самолюбивой гордости,
выслушивал похвалы своему поэтическому
уголку. Он самодовольно улыбался, и его во-
лоокие глаза светились веселым блеском.

Пигмалионов увивался возле Ненси, то-
порща особенно усердно на этот раз свои та-
раканьи рыжие усы.

Ненси было скучно. Ей было тяжело и
обидно, и ей казалось, что все это видят, заме-
чают, и не понимала она, как он мог это допу-
стить... И не было ему ни больно, ни стыдно, а

даже весело?

— Зачем мы приехали сюда? — спросила она его шепотом с тоном упрека.

— Я так привык... я люблю... Я каждый год устраиваю пикники, — ответил он с беспечной, радостной улыбкой.

В ожидании обеда, Сусанна расположилась на большом диване и, нюхая красную розу, слушала, с хохотом, анекдоты игривого свойства, передаваемые довольно откровенно Эспером Михайловичем.

Все чувствовали себя как дома.

— Не ревнуй, глупая мышка! — проговорил Войновский, проходя мимо спальни, где сидела, в большом кресле, грустная Ненси. — Ведь здесь обыкновенно бывал целый цветник дам, а теперь видишь: только ты и твоя мать.

Он пошел к повару — поторопить его. Когда он возвращался, Ненси продолжала сидеть в той же позе и с теми же грустными глазами.

— Ну... ну!.. — он ласково потрепал ее по щечке. — Ты знаешь, я не люблю обычных женских сцен... Будь умница, не надо сенти-

ментов!..

Обильная закуска, горячий бульон, янтарная, великолепная осетрина, шофруа[155] из перепелов, l'asperge du Nord[156] в замороженных, ледяных, сверкающих блеском настоящего хрусталя, формах, синий огонь пылающего плям-пуддинга, дорогие французские вина, холодное шампанское — все это вызывало еще более веселое настроение у собравшегося общества.

Предложенные, во время кофе, радушным хозяином гаванские сигары приятно щекотали нервы своим душистым ароматом.

Огромный, из разноцветных стекол, с выпуклыми фигурами, фонарь фантастически пестрил комнату, причудливо играя синими, красными, зелеными бликами на лицах.

Казалось, что дух Бахуса витал в этом роскошном уголке и радовался и поощрял в веселью своих новейших поклонников.

Уже немного опьяневшие Пигмалионов и Уверенный отважно налегли на ликеры, спавшая юного Сильфидова и беленького Крача, неизвестно каким образом залученного в эту компанию.

Сильфидов из всех сил старался поддерживать честь бравого офицера, опорожня рюмку за рюмкой и громко, глупо, без всякой причины смеялся; Крач имел унылый вид; его маленькие посоловелые глазки усиленно моргали.

Войновский и Сусанна пропали неизвестно куда. На Ненси никто почти не обращал внимания, и она была этому рада. С той минуты, как голоса приехавших раздались в стенах охотничьего домика, ей казалось, что стены эти точно обнажились, и все тайное сделалось явным: и стулья, и столы, и диваны рассказывали о позорно-сладких и мучительных часах, проведенных ею здесь. Чувство панического ужаса охватило ее. Она решила незаметно исчезнуть.

Увлеченные ликером мужчины с интересом слушали циничные анекдоты из уст Эспера Михайловича, который, надо отдать ему справедливость, удивительно ловко затушевывал чересчур откровенные подробности, стесняясь присутствием Ненси в комнате.

Она встала и, быстро миновав спальню, вошла в коридор, с примыкающими к нему ван-

ной и зимним садом. А вслед за нею раздался сейчас же громкий взрыв хохота почувствовавших себя на свободе, мужчин. И громче всех хохотал сам Эспер Михайлович, окончивший, по уходе Ненси, особенно эффектно свой сальный анекдот.

— Не рассуждай — люби!.. — донесся до слуха Ненси страстный, слишком ей хорошо знакомый шепот Войновского.

Она, вся вздрогнув, остановилась. Дверь в зимний сад была полуоткрыта.

— И мать, и дочь!.. Это немножко очень сильно, — засмеялась Сусанна.

Новый взрыв хохота из столовой покрыл своим шумом ответ Войновского.

Ненси стояла в оцепенении, боясь пошелохнуться, боясь малейшим шорохом обнаружить свое присутствие; а ей казалось, что она кричит громко, на весь мир, как безумная...

...Вдруг точно молотом ударило ее по голове:

— Вон! вон! вон!..

Она стремглав бросилась через кабинет в переднюю, кое-как дрожащими руками надела шапочку, накинула ротонду и выбежала

на крыльцо.

Как в чаду вскочила она в сани и приказала кучеру везти себя домой.

Когда они приехали, она велела ему вернуться в домик за матерью.

— Смотри же, вспоминай меня дорогой! — сказала она неизвестно зачем.

На что приземистый, черноволосый Филипп любезно снял шапку и, тряхнув кудрями, ответил:

— Рады стараться... Помилуйте, как забыть... ваши слуги!

Когда тройка, позвякивая колокольчиком, отъехала и скрылась в темноте, Ненси сделалось страшно. Вернуться домой ей представлялось невозможным. Она спустилась со ступенек подъезда, подняла высоко воротник ротонды и перешла на другую сторону улицы.

В комнате бабушки горел огонь. Ненси решила вернуться домой, когда он будет погашен. Она знала, что не выдержит, и как только увидит Марью Львовну, — расскажет ей все. А при одной этой мысли ее охватил страх: она вспомнила один свой разговор с бабушкой накануне сочельника, вспомнила от-

веты старухи...

— Нет, нет! лучше не говорить, лучше уйти, уйти подальше.

Небо раскинулось широким, необъятным шатром над одиноко стоящей Ненси, а звезды светлыми точками, мигая с высоты, точно подсмеивались над ее беспомощностью и горем. Ей не хотелось двигаться — она стояла как прикованная к своему месту. Снова блеснул огонек из окна бабушкиной комнаты... И представилось Ненси, будто огонь этот, все расширяясь и расширяясь, залил светом все окно... весь дом... ярким полымем раскинулся по небу... и померкли звезды, и стало небо огненным... и сделалось совсем светло, как днем; только зловецим черным пятном выделялась ее фигура, прижавшаяся к забору...

Она еще плотнее закуталась в свою ротонду и пошла быстрыми шагами, спасаясь от собственного призрака... Она свернула в пустынные переулки и шла долго, бесцельно, успокоивая себя механизмом ходьбы...

Когда она вернулась к дому — огня уже не было в комнате Марьи Львовны.

На звонок Ненси дверь отворила заспан-

ная нянька.

— Барыня вернулась? — спросила Ненси отрывисто.

— Почивают, — ответила нянька, не разобрав вопроса. — Ждали, ждали и почивать легли, а мне сказали, чтобы дожидалась я вас беспременно...

— Да нет!.. Я спрашиваю: вернулась?.. вернулась?..

— О! да вы про мамашеньку? а мне и невдомек!.. Нету еще, нету... А их превосходительство все ждали, ждали и почивать легли.

Бледное лицо внучки и особенно сухой блеск в глазах смутили, поутру, Марью Львовну.

Сусанна явилась из своей комнаты только к завтраку — напудренная, благоухающая. Она, по обыкновению, приложилась к руке матери и нежно поцеловала дочь.

Ненси, едва скрывая отвращение, ответила на этот поцелуй Иуды, и ей показалось лицо матери каким-то совершенно новым, незнакомым, точно увидала она его в первый раз, или за этим всем видимым было открыто только ее глазам другое — *настоящее*, нико-

му, кроме нее, неизвестное!

Не отрывая пытливого взгляда, смотрела она на полные, несколько увядшие щеки, большие изсиня-серые глаза, под круглыми темными бровями, на вздернутый нос и пухлые красные губы.

— Куда ты так внезапно исчезла вчера? — спросила Сусанна, чувствувавшая себя не совсем приятно под упорно-пристальным взглядом дочери. — Мы все так беспокоились, особенно Борис Сергеевич... Нет, в самом деле, что с тобой случилось?

— Разве она уехала раньше? — удивилась Марья Львовна.

— Ну да... ну да...

— Мне нездоровилось, — сухо проговорила Ненси.

— Так что же ты не велела разбудить меня?

И бабушка укоризненно покачала головой.

«Ах, да оставьте вы меня все!.. все!..» — хотелось крикнуть Ненси, но, чтобы скрыть свое волнение, она низко допустила голову над чашкою, и, чуть не обжигаясь, стала молча пить горячий кофе.

Марья Львовна хотя и привыкла к своеволию и капризам избалованной внучки, тем не менее, с беспокойством следила за ней.

Уйдя сейчас же в свою спальню, Ненси заперлась на ключ.

Часа в три она услышала легкий, осторожный стук в двери.

— Кто там?

— Я.

Ненси нарочно переспросила, хотя знала, что это — Войновский:

— Да кто же?

— Я... я!..

Она щелкнула ключом — и он вошел, свежий, веселый, жизнерадостный.

— Что, моя мышка, заперлась? — спросил он, взяв ее за подбородок:— да и что с тобою?..

Не столько обеспокоился, сколько удивился он, когда она, дрожащая и бледная, почти упала на диван.

— И вчера тоже... я так встревожился!

Кровь бросилась в голову Ненси.

— Я бы хотела... поговорить...

Она с трудом справлялась с своим волнением; ее голос прерывался и дрожал.

Лицо Войновского сразу нахмурилось, и он зевнул.

— Ах, Боже мой, да что же случилось? — протянул он лениво, садясь в кресло возле нее и точно приготавливаясь к чему-то томи-тельно-скучному.

Ненси прямо взглянула ему в лицо.

— Я знаю все.

Войновский небрежно пожал плечами, не придавая серьезного значения ее словам.

— Вы слышите ли? Все!.. Я там была... в то время... в коридоре!..

Он вскочил, как ужаленный; в его глазах вспыхнула злоба и испуг, но он быстро на-шелся:

— Что же, я очень рад!

Он засмеялся холодным, деланным сме-хом.

— Вполне достойное возмездие!.. Подслу-шивать, подсматривать... Какая гадость!.. Шпионить... ловить!.. И по делом!.. и по де-лом, и по делом!..

Он заикался, захлебывался от нервной то-ропливости; он утратил свой обычный, ры-царски-благородный облик и походил на зло-

го, но бессильного, пойманного в засаду зверя. И обвинения посыпались за обвинениями на голову ошеломленной Ненси, не ожидавшей такого исхода.

Он говорил о том, что женщины не умеют быть счастливыми, а только притязательны... и чтобы они всегда помнили свое место, — человек должен всячески отстаивать свою самостоятельность; что женщины и ограничены, и тупы, и нужно их обманывать, и этого они вполне достойны, потому что жаждут только подчинять себе, а не умеют верить и любить.

Он много говорил еще обидного, несправедливого, нелепого и злого, подогревая себя сам собственными словами. И все, что он говорил в эту минуту, так было далеко от того гимна о вечном счастье и любви, который еще так недавно бросил несчастную Ненси в его объятия.

Ледяной холод смерти охватил все ее существо. Она почувствовала — точно под ее ногами топкое болото... все дальше и дальше засасывает оно ее в свою вязкую грязь, и некуда уйти... и нет исхода... Погибель!..

Она стала защищаться, и, сама понимая

всю слабость своих возражений, при полном сознании его несправедливости и своей правоты, — говорила тоже обидные, резкие вещи, а чувствовала, что нужно говорить иначе и что-то совсем другое...

Выбившись из сил, она залилась горькими, беспомощными слезами.

Ему стало и жаль ее, и отчасти стыдно за себя. Он взял ее холодную ручку и мягко, любовно начал успокаивать.

— А все-таки не хорошо шпионить... — сказал он тоном доброго наставника. — Но Бог с тобой!.. Я не сержусь.

— Я не шпионила!..

И с страшной болью в сердце, плача и задыхаясь, Ненси передала все подробности нечаянно услышанного ею вчера разговора.

Он задумчиво гладил ее по волосам.

— Вот, видишь ли, крошка, — сказал он ласково, устремляя свои черные глаза куда-то в пространство, — я всю мою жизнь искал женщину, которая сумела бы как должно понять любовь и страсть... «Страсть» и «любовь» — надо понять различие — нельзя их смешивать вместе... Человека захватит, и

он... сам не свой — вот это страсть!.. Любовь — это... там, глубоко... понимаешь, в недрах души... там!.. И женщина должна понять: любовь — сама по себе, страсть — сама по себе... Если случится порыв, влечение в другой — это не есть измена!.. Нужно понять... Не простить — ты понимаешь, а как умная женщина — понять, так как вины тут нет ведь никакой!.. Ведь это тело, только тело, душа осталась там — где любишь... там... В нас два начала, два элемента — плоть и дух...

— Дух! Дух! оттого и страсть должна быть также одухотворенная! — вспыхнула в негодовании Ненси. — Неправда, все неправда!.. Мы люди, люди, а не звери! Ведь *другой* вы не скажете «страсть», вы не скажете: «плоть», вы будете говорить: «любовь» — и лгать... Вы скажете: «люблю» — и солжете, вы потребуете и от нее этого злосчастного «люблю»... «люблю»... Зачем?

— Затем, что женщины не понимают жизни.

— И о вечном, вечном, вечном, вы станете ей говорить — не правда ли?..

— Что ж! увлекаясь, человек преувеличи-

вает многое...

— А женщина должна ему верить?

— Должна? Зачем должна?.. Но если верит — то отлично... Вера приятнее неверия.

— А если после будет больно?!.. — с волнением вырвалось у Ненси.

— Это зависит от себя, — ответил, не смущаясь, Войновский. — Нужно уметь стать выше предрассудков.

— Отличное существование!.. — нервно смеялась Ненси. — А женщина — та тоже: страсть к одному, любовь — к другому?

— Это не есть необходимость... Но если явилось влечение — тогда... пускай! Ведь если бы с тобою случилось что-нибудь подобное, — проговорил он торопливо, — я бы не стал отравлять жизнь неистовствами; я бы спокойно выждал минуту... и ты пришла бы ко мне опять!.. Нужно уметь привязать в себе, нужен известный такт в отношениях...

— Уйдите!.. — сквозь стиснутые от душевной боли зубы простонала Ненси.

Он вышел безмолвно, даже не взглянув на нее.

И снова щелкнул ключ в дверях спальни.

Ненси целый день не выходила из своей комнаты и отказалась обедать. Марья Львовна оскорбилась ее поведением.

Уехавшая после завтрака, Сусанна явилась только в ночи домой.

А Ненси то ходила взад и вперед по комнате, мрачно сдвинув брови, то ложилась навзничь на кушетку и, закинув за голову руки, рассеянно глядела вверх, постукивая нервно ногой об ногу. Она чувствовала, что нужно что-то предпринять, а что — сама не знала. Одно было ей ясно: совершилось что-то до безобразия грязное, гнусное, вопиющее!

И не только личная обида мучила ее — нет, все лицемерие, ложь и разукрашенный разврат окружающих ее людей, как страшная общая беда, камнем придавила ей грудь.

«Любовь» и «страсть»... «страсть» и «любовь»? — пыталась она разобраться сама, найти связь и гармонию двух этих чувств. Она мыслила живыми образами, и сердцем чувствовала всю правду, но объяснить ее себе, облечь в слово — была не в силах.

— Как же это?..

Дрожь отвращения пробежала по ее телу.

Негодование и жалость, и обида встали из глубины души.

— Так, значит, нет ничего!.. нет?.. и все неправда? И верить нельзя! — восклицала Ненси, ломая руки, тщетно ожидая ответа в своей бессильной тоске.

И она горько, горько рыдала, оплакивая свою молодую, поруганную страсть, тоскуя об утраченных, хотя неясных, но живущих в душе, идеалах любви.

XVIII.

Так прошла неделя. Ненси старалась избегать Войновского. Он принял относительно ее любезный, но несколько оскорбленный тон. Лишь изредка в его бегло скользящих по ней взглядах загорался самодовольный огонь, а улыбка как бы говорила: «Ничего! перемелется — мука будет».

Не понимая, в чем дело, видя исключительно только нервное состояние Ненси, Марья Львовна совершенно теряла голову, и, наконец, подумав, что Сусанна — все-таки мать обожаемой ею внучки, решилась поделиться с дочерью своею тревогой.

— Нет ничего удивительного!.. — бойко разъясняла Сусанна. — Une jeune femme... [157] а этот... я ведь знаю все, — и, как бы мимоходом, обронила она фразу: — ее герой... он стар для нее...

«Может быть, она и права, эта «каботинка» [158]! — подумала несколько успокоившаяся Марья Львовна, но в итоге не совсем довольная своей откровенностью с Сусанной...

— Родная, я к вам с просьбой, — так нача-

ла, влететь, дня два спустя, в гостиную Гудауровой, беспокойная Ласточкина, — представьте, какое несчастье! Эта противная кривляка совсем, наотрез, отказалась играть!.. Положим, она расстроена, даже собралась уехать, для успокоения нервов, но так нельзя же подводить!.. Я просто в отчаянии!.. Я не решаюсь просить сама вашу прелестную внучку, а вся надежда на вас, — умоляла она Марью Львовну, — голубушка, спасите!

— Но как же я вас спасу?.. Я для этой роли, кажется, уже немного устарела, — отшучивалась старуха, — а Ненси слишком молода...

— Нет, нет, не вы... совсем другое!.. и пьеса другая... Спектакль идти должен, но дам интересных у нас нет совсем... Поймите мое положение! Одно спасение, чтобы Елена Сократовна была «гвоздем» спектакля... Бояться ей нечего — я выбрала для нее чудную, подходящую роль молоденькой девушки, и пьеса прелестькая, ее здесь любят — «Сорванец»... Я уж решилась сама не играть в главной пьесе — поставлю для себя водевиль, в конце... Спасите, родная! Умоляю!..

Она пыхтела и обмахивалась веером.

Марья Львовна пробежала в главных сценах роль девочки-«сорванца» — ей она очень понравилась. Она боялась только, что Ненси, никогда не игравшая, откажется, испугавшись размеров и ответственности роли.

Самой Ненси не было — она каталась.

— Я подожду ее, — объявила неутомонная Ласточкина.

— Ты знаешь, *chère enfant*, мы тебя атакуем! — встретила ввучку Марья Львовна, когда та, возвратясь, вошла в гостиную. — Мы две союзные державы, — указала она на Ласточкину, глаза которой с мольбой были устремлены на Ненси, — и мы тебя атакуем!

Бабушка рассказала, в чем дело. Ненси попросила дать ей прочесть пьесу.

— Прочтите, прочтите!.. Она коротенькая, а я подожду, пока вы прочтете... я подожду, подожду! — трещала Ласточкина.

Ненси не только не испугалась, а напротив, обрадовалась роли. Она с жадностью ухватилась за мысль, что это даст ей возможность уйти от ее мучительного душевного состояния.

И она сразу всецело окунулась в лихора-

дочную сутолоку приготовлений к спектаклю: учила роль, заставляла Марью Львовну, чтобы проверить выученное, спрашивать себя по несколько раз в день, с увлечением ездила на репетиции и по целым часам совещалась с бабушкой о костюмах.

Марья Львовна восхищалась ею и уверяла, что у нее — талант; на репетициях все ее хвалили, и Ласточкина захлебывалась от восторга, хотя тут же прибавляла:

— Боюсь, будут промахи, непременно будут! Но она так молода и красива, и притом играет только в первый раз!..

Бабушка ожила. Она присутствовала на всех репетициях и готовилась поразить город богатством и изяществом туалетов своей «enfant chérie».

Нельман, в качестве директора «Кружка», в помещения которого шли репетиции (спектакль предполагался в городском театре), держал себя очень важно и был начальнически строг, устраивая постоянные баталии с Ласточкиной из-за освещения.

— Однако, cher, — пробовала раз даже вмешаться Марья Львовна, — вы заставляете си-

деть всех в темноте — суфлер едва читает.

— Нельзя-с, нельзя-с!.. — развел руками Нельман, причем лицо его выражало полную непреклонность. — Я, как директор, защищаю интересы учреждения.

— Но мы вам платим! — заявила Ласточкина.

— Не мне-с — «Кружку»!.. Прошу не забывать!..

И только один раз, и то благодаря неотступной просьбе Ненси, суровый директор смягчился, и любители не бродили в потемках, рискуя разбить себе лоб или нос о кулисы.

Игравший роль генерала и режиссирующий, в то же время, спектаклем, Эспер Михайлович, был необыкновенно горд своим положением.

Кто-то посоветовал было пригласить одного из актеров городского театра, в качестве режиссера.

— Нет, нет, нет! — закипятилась Ласточкина. — Тем и должны отличаться любительские спектакли, чтобы никто не учил, чтобы в них не было ничего актерского... каждый

играет, как умеет. Среди нас, наконец, столько опытных... Я сама двадцать лет на сцене!..

Пигмалионов мрачно и неотступно ходил за Ненси.

На генеральную репетицию явилась Су-санна. Ненси боялась приезда Войновского. Однако, он остался верен своему такту — его не было.

Ненси в первой же сцене струсила и, спутавшись сама, сбила всех окружающих.

— Ах, как вы хорошо играете! — повторяла, обнимая ее в уборной, дочь предводителя дворянства, тоненькая, хорошенькая, шепелявая барышня, игравшая одну из сестер. Она жадно ждала провала Ненси, считая роль «сорванца» своей коронной ролью.

— Я говорила — будут промахи! — точно радовалась сбывшемуся предсказанию Ласточкина. — Ну, ничего, ничего! — успокоивала она юную дебютантку. — У нас репетиция бесплатная.

Ненси испытывала горький, самолюбивый стыд и готова была плакать.

В антракте, перед выходом, она увидела возле себя Пигмалионова с большой рюмкой

матеры в руках.

— Советую, — и с своим непоколебимо-мрачным видом он протянул ей рюмку, — успокоит нервы!..

Ненси выпила залпом, подстрекаемая страхом и самолюбием.

От выпитого ли вина, или просто от нервного задора, но Ненси, победив свою трусость, победила и собравшуюся на репетицию публичу, преимущественно учеников средних учебных заведений, шумно выразивших свой восторг аплодисментами.

— Вы завтра не будете робеть? — спрашивала у Ненси изнывающая от злости предводительская дочка. — Вы знаете примету: если удастся роль на репетиции, — говорят, непременно провалишь на спектакле.

В день спектакля, Ненси с утра не находила себе места от волнения. Ее даже не радовали разложенные в ее спальне и будуаре престные платья, над созданием которых так много потрудились они с бабушкой, хотя роль требовала самых простеньких туалетов.

— Я провалюсь, я провалюсь, — твердила она с детским упорством, выводящим из се-

бя Марью Львовну.

— Ты провалиться не можешь — tu es la plus jolie[159]...

— Нет, нет! провалюсь, провалюсь! Вот увидите!..

Она целый день ничего не ела, и к вечеру показалась даже Марье Львовне похудевшею.

— Вы себя положительно портите! — восклицала вечером одевавшаяся с Ненси в одной уборной предводительская дочка. — Вам нужно больше румяниться, как можно больше!.. Позвольте, я вам сделаю... — и она обильно наградила щечки Ненси румянами.

— Это не портит кожи? — с тревогою осведомилась Марья Львовна.

Ее очень беспокоили косметики, в полной безопасности которых уверял парикмахер, а главное, ее возмущали грязь и пыль за кулисами и даже в уборной, принадлежавшей оперной примадонне, и где теперь одевалась Ненси.

— Все это ужасно портит кожу... и пыль везде...

— Позвольте, душечка, вы слишком красны! — затараторила влетевшая в уборную Ла-

сточкина, в светло-сером шелковом платье и с розеткой распорядительницы на правой стороне груди. — У меня рука уж навыкла... на-в-ы-кла... — сжав губы и откидывая ежеминутно голову, чтобы лучше видеть, мазала она белилами по тонким чертам лица Ненси. — Я грим отлично изучила, отлично!

Но под искусными руками отлично изучившей грим Ласточкиной хорошенькая Ненси превратилась чуть не в урода: белое, красное лежало лепешками, нос сделался длинным, широкие, черные, как чернила, брови резкими полосами тянулись по белому, как бумага, лбу...

Ласточкина была в восторге от своего произведения.

— Вы не смотрите, что отсюда резко — от туда будет только-только в меру... театр большой.

Но Марья Львовна прямо испугалась безобразного вида своей любимицы и не знала, что делать, так как в искусстве гримировки была совсем неопытна.

По счастью, в уборную легкой сильфидой впорхнула Серафима Константиновна, тоже

участвовавшая в этом спектакле.

Увидя свою прелестную «Весну» в таком ужасном гриме, она иронически усмехнулась и, несмотря на энергичные протесты Ласточкиной, уничтожила всю ее художественную работу. Она сделала Ненси совершенно бледной, сильно увеличив ее глаза, что придало всему лицу несколько странное выражение, но сохранило его красоту.

— Courage, courage![160]- подбадривал Ненси преобразившийся в генерала Эспер Михайлович.

— Советую вам... как вчера... глоточек, другой, — тихо, но многозначительно шепнул точно пришитый к хвосту Ненси Пигмалионов.

Ненси не видела, не слышала, не понимала ничего — она была точно в чаду. Сердце ее прыгало и замирало, ноги дрожали, подкашиваясь...

Большой зал, с уменьшенным, сравнительно со сценой, светом ошеломил ее. Однако, она не сробела, и не по вчерашнему — бойко повела свою роль, мило конфузясь, но не это трусости, а от новизны и непривычки.

Вдруг, среди самой оживленной своей сцены, она внезапно остановилась, устремив в одну точку испуганные глаза. Точка эта была лицо Войновского, скорее угаданное, чем увиденное Ненси в полутьме широкого зала. Но это было одью мгновенье. Какая-то дикая злость охватила все ее существо, а бес самолюбия зажег огнем ее глаза и речи... Она почувствовала себя сильной на этих, стоящих выше всей остальной толпы, подмостках, а главное — выше его.

Ее вызывали, ей хлопали, кричали... Самые разнообразные чувства волновали ей сердце, успех пьянил, исключительность переживаемых минут как бы радовала...

Такое горячее, полусознательное состояние не покидало ее весь вечер: и тогда, когда выходила она на вызовы публики, и когда подали ей из оркестра — а Эспер Михайлович передал — огромную корзину роз и белых гиацинтов, и когда прикладывались в ее ручкам восторженные поклонники, и когда гордая ее успехом бабушка, целуя ее, шептала ей на ухо:

— *Charmeuse et grand talent!*[161]

Все это пронеслось для Ненси в каком-то смутном сне.

После спектакля решено было ехать ужинать в «Кружок». Ужин затеяла Ласточкина, или, вернее, ее муж.

Марья Львовна отказалась сопровождать Ненси. Она чувствовала себя очень уставшею. Ненси поехала в обществе Пигмалионова. За время репетиций и спектакля, она привыкла к нему, и ее даже стало забавлять его молчаливое, мрачное ухаживание.

Когда они приехали в «Кружок» — все было уже в сборе, и Ласточкин изнывал, ожидая замешкавшуюся Ненси, из-за которой не сажались за стол.

Первое, что бросилось в глаза Ненси, было лицо Сусанны, забравшейся тоже на ужин; а когда, после закуски, обносили борщок, в дверях показался Войновский.

Ненси едва не вскрикнула.

— Не пускайте... ко мне никого не пускайте! — прошептала она скороговоркой Пигмалионову.

Он сейчас же занял свой стул. Сусанна сидела наискось от дочери и находилась, по-ви-

димому, в самом веселом расположении духа, с улыбкой устаревшей вакханки.

Войновский занял место далеко на другом конце стола, возле тающей от восторга иметь его своим кавалером предводительской дочери, приехавшей на ужин в сопровождении какой-то замаринованной тетушки. Отец ее был в отъезде, а мать, хронически больная женщина, не покидала своей квартиры.

Пигмалионов усердно подливал вино в стакан Ненси, и она не отказывалась — пила с удовольствием. Ей почему-то вспомнились слова Войновского, сказанные в их первое, роковое свидание: «Ты не любишь вина — я научу тебя любить его»... И Ненси сегодня любила вино и даже понимала, что можно его пить, пить до тех пор, пока не станет «все равно». Да, «все равно» — жить, умереть, страдать, блаженствовать, любить и ненавидеть!..

Под общий шум и говор, Сусанна что-то говорила ей, через стол, потом засмеялась и, до половины прикрыв веером лицо, подмигнула лукаво в сторону Пигмалионова.

— Мне душно здесь, — сказала Ненси, встав с места.

За нею сейчас же последовал ее кавалер. Минувя маленькую голубую гостиную, обставленную совсем по казенному, Ненси вошла в темный зал, освещенный только светом, проникавшим из гостиной. Ненси опустилась на длинный, простеночный диван, откинув голову назад, и закрыла глаза.

— Не обращайтесь на меня внимания, — мне надо успокоиться.

Когда она вернулась в столовую, там было еще шумнее и оживленнее. Ужин приходил к концу и наступало самое веселое, непринужденное время...

Ненси встретила задорный, точно поощряющий взгляд матери, и вся затрепетала.

Между тем тосты сыпались за тостами, и больше всего пили за ее здоровье, прославляли ее талант, красоту, молодость...

Когда же внимание было от нее отвлечено тостами, направленными по адресу действующих лиц спектакля, к ней подошел, с загадочной, несколько робкой улыбкой и с бокалом в руке — Войновский.

— Позвольте мне тоже выпить за ваше здоровье, — проговорил он почтительно. — Вы

были сегодня прелестны, я искренно любовался вами.

Притронувшись слегка своим бокалом к ее бокалу, он отошел. И Ненси стало так страшно, как страшно бывает маленьким детям, когда нянька, среди чужих незнакомых лиц, оставит их одних.

Да, все это чужое, страшное: и длинный стол с смятыми салфетками, опустошенными бутылками, с остатками мороженого на тарелках, и красный Ласточкин, с сияющим лицом наевшегося обжоры, и Серафима Константиновна, снизошедшая до внимания к полковнику Эрастову, и Ласточкина, и Сильфидов, и Сусанна, и Пигмалионов, и... О, все это страшное, лишнее, ненужное, чужое!..

И она стала ждать, чтобы он снова скорее подошел к ней.

Он угадал ее желание. При первой удобной минуте он был уже около нее.

— Ты очаровательна сегодня, — проговорил он тихо, сразу переходя на «ты». — Довольно упрямитесь, довольно сердиться!..

— Зачем вы меня мучаете? — проговорила она едва слышно.

Они продолжали разговор вполголоса.

— Я мучаю? Я?.. Это мило!.. Ты мучаешь... ты!.. Ты извела меня, я места не нахожу — и я же, по твоему, виноват?!.. Когда я люблю тебя больше жизни!..

Она слушала его страстный полусшепот, и ей казалось, что все окружающее уходит от нее куда-то далеко-далеко, и ничего нет, кроме этих больших, черных, полузакрытых, сжигающих ее глаз и этого ласкающего слух полусшепота...

— Так решено — сейчас я выйду, а ты, незаметно, уйди через десять минут.

Она ничего не ответила; однако, едва прошли десять минут — она уже была на подъезде, где ее ожидал Войновский.

...И вот опять очутилась Ненси в причудливых, красивых стенах приюта. Но только это была другая Ненси. Та — прежняя — в полном незнании боялась и радовалась страсти, а эта — ничего не боялась и ничему не радовалась... Зачем она пришла сюда?.. Она пришла, как жалкий нищий в свою убогую лачугу, где все-таки было лучше, чем на холодной мостовой...

Но чем веселее и беспечнее смотрел Войновский, тем задумчивее становилась Ненси, и между ее тонкими бровями на беломраморном лбу залегла продольная морщинка.

Злоба преступника к виновнику своего падения, ненависть раба грызли ее душу, и к этому примешивался малодушный, ребяческий страх: она и ненавидела, и боялась утратить этого человека, безотчетно торжествуя свою победу над ним.

— Ты делаешься женщиной... Из ребенка становишься львицей, — сказал ей Войновский.

— А это разве хорошо? — спросила Ненси равнодушно.

— Еще бы!.. Мы с тобой делаемся взрослыми. Мы начинаем входить в жизнь!..

XIX.

Юрий писал все чаще и чаще; его письма выражали нетерпение; он жаловался на экзамены, затягивающие его приезд.

Ненси ожидала свидания с ним, уже без радостного ужаса, а спокойно, как что-то неминуемое и неизбежное.

Решено было выехать в деревню в первому июня, без Юрия.

Несмотря на холодность Марьи Львовны и почти нескрываемое презрение со стороны дочери, Сусанна вовсе не думала их покидать. Она превосходно проводила время с юным Сильфидовым и находила жизнь в русском большом городе также не лишенной своеобразной прелести.

— Право, после долгого скитания за границей, *j'aime ma patrie*[162], — сказала она Марье Львовне, сообщив при этом, что проведет с ними месяца полтора, в деревне; а после, если *таман* будет добра помочь ей — отправится в Биарриц, так как *les bains de mer*[163] ей необыкновенно полезны.

— Ты через две недели приезжай сюда под

каким-нибудь предлогом... Ну, заказать платье... что ли?.. А после... меня звала погостить grand'maman в деревню, — объявил Ненси Войновский в их последнее свидание.

Эспер Михайлович решил, что не может отпустить без своей опеки дорогих сердцу друзей и в самый день отъезда явился, с утра, с заграничным небольшим чемоданом и пледом, стянутым в ремнях.

Часы, проведенные в вагоне, прошли незаметно и весело в общих разговорах.

На одной из маленьких станций, Эспер Михайлович, заметив стоящий рядом, на пути, товарный поезд, полный переселенцами, — крикнул из окошка:

— Куда едете, братцы?

— А нужду добывать! — шутливо откликнулся высокий, худощавый старик.

В единственное широкое отверстие товарного вагона теснились женщины, с грудными детьми, и подростки, с любопытством глазевшие на пассажиров; мужики посOLIDнее предпочитали лениво лежать в темной глубине вагона.

— А он не без остроумия, этот русский на-

род, — сказал Эспер Михайлович, вспоминая ответ мужика, когда товарный поезд медленно пополз дальше.

На станции, от которой имение Марьи Львовны отстояло в тридцати верстах, ожидали приехавшие удобные экипажи, несколько старинного образца, и встретил сам управляющий, Адольф Карлович. Он очень суетился, бестолково болтался между вещами и прислугой, и, забрав наконец бесчисленные картонки со шляпами, помчался вперед, чтобы встретить хозяев у ворот вверенного его попечению имения.

— Не скажу, чтобы этот способ передвижения был мне особенно по вкусу, даже при известном комфорте, — заметила Марья Львовна, когда экипажи двинулись в путь.

Дорога, по которой они ехали, не изобиловала красотами природы: однообразные, бесконечные поля, кой-где мелкий кустарник, низкорослое, корявое деревцо, овражек, с пересохшим руслом весеннего ручья и опять все та же безграничная, необозримая степь. Изредка попадались то русские, то татарские поселки, так как население в этой полосе Рос-

сии было смешанное.

Солнце начинало сильно припекать, и путешественники решили сделать привал. Они остановились у самой крайней избы небольшой русской деревни. Изба стояла на выезде, и в ней примыкал ровный, красивый лужок, недавно выкошенный, особенно приятно ласкавший глаз своею зеленью.

День был праздничный. По единственной деревенской улице разгуливали девушки и парни, сидели на завалинках мужики и бабы. Некоторые снимали шапки и кланялись при встрече с сидящими в экипажах. Путешественники вошли в избу напиться чаю.

Изба была просторная и разделена надвое ситцевой занавеской, но пахло в ней чем-то кислым. Из-за занавески раздавался жалобный писк, похожий на мяуканье больного котенка. Мужик достал большой, тусклый, нечищенный самовар и отправился с ним в сени. В растворенную дверь набралась целая куча черноволосых, русых, белобрысых, загорелых ребятишек, а впереди всех вылезла хорошенькая, смуглая девочка, лет семи, с туго заплетенными косичками и большими, глу-

бокими голубыми глазами.

— Elle est bien gentille, cette petite mignonne [164], — воскликнула Сусанна. — Поди сюда, поди сюда!.. — звала она девочку.

Та не двигалась. Сусанна сама подошла в ней вынула из своего шелкового, висящего на руке, ридикюля шоколадную, обернутую в свинец, конфекту и протянула ребенку:

— Вот возьми!

Девочка точно испугалась и, помотав головой, быстро спряталась в толпу ребят-шек.

— Mais tout-à-fait sauvage [165], — проговорила с сожалением Сусанна.

Когда Марья Львовна и Ненси вышли на улицу, чтобы садиться в экипаж, глазам их открылась умильная картина: по лужайке, прилегавшей к избе, резво бегала Сусанна и ее догонял запыхавшийся Эспер Михайлович.

— Однако, надо усмирить их! — рассердились Марья Львовна. Она послала за дочерью и ее веселым кавалером. Господа уселись в экипажи. В толпе, теснившейся у избы, опять некоторые сняли шапки.

— Прощайте, милые, прощайте!.. — приветливо кивала головой Сусанна.- Ah, que j'aime le peuple, la campagne!.. c'est si joli!..[166]- воскликнула она, когда экипажи двинулись в путь.

XX.

— Ну вот, моя крошка, мы и в нашем родном гнезде! — говорила вечером Марья Львовна, укладывая, как в доброе старое время, Ненси в постель.

Ненси спала беспокойно, поутру отправилась в сад, обошла все дорожки; постояла задумчиво в своем любимом бельведере, белые колонны которого еще более потрескались и облупились; машинально потрогала перекинувшуюся через балюстраду ветку старой чахлой сирени, скупо покрытую цветами; зашла и в рощу, но... в обрыву пойти не решилась.

Юрия ждали в 12-му июня. Ненси целые дни проводила в старом саду, в самых заглохших его закоулках, умышленно стараясь избегать встреч с Сусанной и Эспером Михайловичем, видимо чувствовавшими себя превосходно на лоне русской природы.

— Я возрождаюсь здесь, положительным образом возрождаюсь! — восклицал Эспер Михайлович, молодежavo пожимая своими худыми плечами.

Сусанна, напротив, имела томный вид и была мечтательно молчалива.

Бабушка сидела за делами, проверяя счета, а по вечерам играла в карты.

Заглянув в библиотеку, Ненси попыталась было читать, но едва одолела и страницу. Со всем что-то необычное творилось в ее душе. Был ли то страх перед свиданием с мужем, или тоска по отсутствующем Войновском? Нет! что-то не вылившееся в ясную, определенную форму мучило ее; какая-то разорванность мыслей и чувств — всего существа. Точно взяли и разорвали ее на тысячу кусков, и от бессильного стремления соединить их вместе, собрать снова в одно целое — испытывала она неприятное, тягучее чувство...

День приезда наступил. Ненси овладел малодушный страх, и на вокзал она не поехала, ссылаясь на нездоровье.

Встреча была неловкая, странная... И они оба смутились.

Но обаяние лета, родной природы, чудных воспоминаний любви — заставили его скоро позабыть неприятное ощущение первой минуты. А она? Она с каждым днем все станови-

лась нежнее и нежнее... и в ласках его старалась найти для себя забвение, уйти от себя самой. Казалось, снова воскресла весна их любви. Они читали, гуляли вместе по деревне, заходили в избы, где он подолгу засиживался, беседуя со старыми приятелями своего детства.

Они возвращались веселые и радостные, строя планы будущего, оглашая рощу молодыми голосами...

Но чем ближе подходил роковой день, назначенный Войновским, тем тревожнее, порывистее становилась Ненси.

Она объявила мужу о своем отъезде накануне этого дня, улыбаясь натянутой, виноватой улыбкой.

— Как же ты поедешь одна? — воспротивился он. — Я поеду с тобой.

— Нет, нет, нет! Меня это только стеснит... Мне нужно... к портнихе... разные неинтересные дела... я буду торопиться, и... все выйдет нехорошо.

Он удивился, но не настаивал.

Ненси уехала одна.

В городе она вела себя невозможно: отра-

вила Войновскому всю сладость ожидаемого с нею свидания, и видя перед собой ее постоянно испуганное лицо и вечные слезы, он поспешил проводить ее, раньше определенного часа, назад в деревню.

Молчаливая, угрюмая, она заставила не на шутку встревожиться Юрия.

— Да что с тобой?.. На тебе лица нет...

— Лицо есть, да только фальшивое, — ответила она резко.

А на утро сама повела его к обрыву.

— Знаешь ли, зачем я повела тебя сюда? — спросила она вызывающим тоном.

Изумленный Юрий молчал.

— А чтобы сказать тебе, что ты можешь меня сейчас сбросить с обрыва и убить, если хочешь.

— Ты с ума сошла! — остановил ее возмущенный Юрий.

— Нет... слушай меня!.. Я тебе хочу сказать... тебе... тебе — слышишь?.. потому что здесь, на этом самом месте, я была другою возле тебя!.. Ты знаешь, что я делала весь этот год? Знаешь?..

И она рассказала ему все... Глаза ее горели

сухим блеском, голос был жесткий. Она была беспощадна к себе, и чем больше раскрывала подробностей, тем чувствовала большее удовлетворение.

При первых же словах ужасного покаяния, Юрий хотеть крикнуть: «Не надо! довольно!» — но она так упорно, с такой злобной настойчивостью и нервной силой продолжала свою исповедь, что остановить ее не было возможности. Как поток, прорвавший плотину, речь ее неслась каскадом, ничего не щадя, все сокрушая на пути.

— Видишь, какая я низкая!.. и я не могу иначе... Он позовет, и я опять... пойду к нему, опять! — шептала она с болезненной злобой, дойдя в своем рассказе до истории с матерью и возобновленного сближения с Войновским.

Возле нее раздалось глухое, сдержанное рыдание. Это плакал Юрий, припав головой на тот самый камень, где между ними был заключен союз их молодой любви.

— А-а-а!.. Боже мой! — простонала Ненси. — Не надо!.. возьми, разmozжи мою голову... но не надо!..

Юрий поднял заплаканное лицо. Глаза его

стали совершенно темными и точно ушли куда-то дальше в глубь...

Наступило томительное, тяжелое молчание.

— Так что же делать? — беззвучно проговорила Ненси.

Ветер шелестил листвой деревьев, а их ветки, сплетаясь, точно сообщали друг другу о только что слышанной, печальной и страшной исповеди, и точно сожалели и оплакивали... и, покачиваясь, недоумевали... Внизу, на дне обрыва, играя мелким щебнем, любовно журчал ручей.

— Что же делать? — повторила Ненси.

Вихрь в эту минуту порывом налетел на деревья и промчался дальше. И снова все смолкло, только по прежнему колебались ветви да тихо-тихо трепетали листья.

— Что же делать? — раздался в третий раз тот же тоскливо-упорный вопрос.

— Не знаю, — едва слышно прошептал Юрий.

Он встал и пошел медленно, не оглядываясь, сам не понимая, зачем, куда идет.

— Не знаешь... — повторила почти бессо-

знательно Ненси.

Она, шатаясь, подошла к краю обрыва. Страшная внезапная мысль, как молния, осветила ее сознание:

— Минута — и всему конец!

Вдруг сильные руки схватили ее сзади... Юрий, по странному предчувствию, обернулся и сразу бросился в обрыву.

Почти бесчувственную перенес он Ненси на камень.

— Ненси, — сказал он ей, когда она очнулась, — все будет хорошо!.. Ты слышишь?.. Не знаю сам я, как... Мне надо разобраться... все это вдруг... Но... будет... хорошо!..

Его голос звучал решительно, хотя речь обрывалась, а левой рукой он держался за грудь, точно боясь, что сердце действительно разорвет ее.

XXI.

И настали для Юрия черные, трудные дни — дни смятения, тоски, негодования. Он возмущался не только бабушкой, считая ее причиною всех зол, не только потерявшей нравственный облик Сусанною и романтично-развратным Войновским, не только ими всеми, этими забывшими и стыд, и честь людьми — он возмущался самой Ненси, потому что считал ее чистой сердцем и сильной духом. Но всякий раз, когда негодование на нее закипало в груди, на смену являлось чувство мучительной жалости и сострадания и какая-то неясная для него самого решимость пожертвовать собою.

Так же, как в то прошедшее время, перед своим отъездом в консерваторию, он по целым дням уходил в лес и один, совсем один, переживал тяжелую, сложную борьбу мыслей и чувств. Жизнь в этом доме его тяготила, но он знал, что теперь уйти еще нельзя.

Ненси понимала остроту его душевного состояния; под предлогом болезни Муси, у которой резались коренные зубы, она устроила

свою спальню возле детской ребенка. Зловещее что-то витало в стенах роскошного барского дома.

Не замечали, или просто не хотели этого знать, лишь Сусанна да Эспер Михайлович, более чем когда-нибудь считавшие жизнь вечным праздником в этом мире, лучшем из миров.

Но Марья Львовна зорко следила за событиями и, хотя не могла знать всего, но предполагала, что Юрий — единственная причина странной неурядицы, и с каждым днем сильнее ненавидела его.

Отъезд Сусанны, а вслед за этим приезд Войновского несколько рассеяли мрачное настроение Марьи Львовны. Она надеялась, что теперь Ненси, может быть, воспрянет духом и все пойдет по иному.

«Все-таки, *il est bien beau encore*[167]», — думала она о Войновском.

Наталья Федоровна чуяла, что с сыном творится что-то неладное, но недоумевала, с какой стороны подойти к щекотливому вопросу. Юрий вообще был скрытен, а там, где дело касалось его сердечных движений, — прятал-

ся, как улитка, от всякого постороннего вторжения, не делая в таких случаях исключения даже и для матери.

— Вы не находите, что этот grand artiste [168], — злобно проговорила Марья Львовна, беседуя с Войновским, — отравляет всем нам существование... Я, право, очень бы хотела развода.

— О, нет!.. Он очень милый молодой человек, немного странный только, — заступился Войновский.

Однако сам он тоже обращался не так уже свободно с Юрием, как прежде, и даже как бы избегал его, хотя Ненси не обмолвилась ни словом о страшной сцене у обрыва.

По приезде Войновского, Юрий встретился с ним за обедом. Непонятное, дикое желание овладело им в первую минуту: подойти к этому старому красавцу и ударить его по лицу, при всех. Он едва сдержал свой безобразный порыв.

«Не этим же решать такой вопрос», — подумал он, сгорая от внутреннего за себя стыда.

Решительная минута, однако, пришла —

он это понял, но как она разрешится — было для него, по-прежнему, неясно. И новое, доселе неизведанное им чувство, острое и злое, змеей обвилось вокруг сердца и жгло его и жалило. То была ревность.

Все чувствовали себя тяжело. Бывает так иногда перед грозой: сгущенный воздух как-то странно давит грудь и что-то беспричинное, но неотступное волнует и тревожит.

— Ты знаешь, я рассказала ему все! — сообщила Ненси Войновскому, гуляя с ним по тенистым дорожкам старинного сада.

Он весь вспыхнул и рассердился.

— Удивительное дело, как люди любят осложнять свою жизнь!.. Все шло прекрасно... хорошо...

— Ах, ты находишь, что хорошо?

— Конечно!.. Так нет — надо запутать, осложнить!.. Удивительная способность! — пожал он сердито плечами. — Ну, что же делать теперь?.. Что?..

А Ненси испытывала злорадное, мстительное чувство при виде его замешательства.

— Поразительная нелепость!.. Из самого обыденного дела устроить целую историю!..

Весь день он был видимо расстроен и за обедом ничего почти не ел. Ночь тоже провел отвратительно.

— Чорт знает, какое бестолковое положение! — волновался он, ходя по большому кабинету покойного мужа Марьи Львовны, куда его поместили.

Он вспоминал свою жизнь, все мимолетные и более продолжительные связи. Никогда ничего подобного с ним не случилось. Все так бывало просто, естественно.

— Положительно, народились какие-то выродки, психопатические и нелепые! — негодовал он и досадовал, и раскаивался в своем увлечении Ненси.

Он бесповоротно решил завтра же уехать.

— Если она так любит бури и скандалы — пускай распутывает сама эту путаницу.

Поутру он встал рано, но, несмотря на смутную внутреннюю тревогу, как всегда, занялся самым тщательным образом своим туалетом. Освеженный холодным душистым умываньем, с подвитыми, надушенными усами, он собирался уже приняться за укладывание своего чемодана, как был внезапно

неприятно поражен появлением Юрия в кабинете.

— Я пришел вам сказать, — начал отрывисто Юрий, глядя в упор на него серыми, скорбными глазами, — сказать... или предложить... Нет! я пришел объявить вам, что я даю жене моей свободу... И если вы порядочный человек... если вы честный — вы женитесь на ней.

Войновский растерянно указал Юрию на стул, по другую сторону письменного стола.

— Благодарю, — сухо уклонился Юрий от любезного приглашения.

И они стояли друг против друга, за большим старинным красным деревом, с бронзой, столом — оба бледные, оба дрожащие...

Из открытого окна, на середину комнаты, задевая стол, искрясь в бронзе массивных подсвечников, падал широкой косой солнечный столб, а в нем, точно в плавном ритмическом танце, кружились мириады пыльных точек. Они играли, перегоняли друг друга, волнообразно качались...

Глаза Юрия смотрели строго. Взгляд Войновского выражал ненависть и нескрываемое презрение.

— Так вот я вам объявляю мое решение!.. — сказал Юрий, и голос его, как металл, зловеще гулко прозвучал в стенах высокой комнаты.

— Позвольте!.. — Войновский постарался насколько возможно овладеть собою. — Я вам, кажется, не дал ни повода, ни права говорить со мною таким образом.

— Повода? Нет... А право?.. Вы понимаете сами мое право... Ведь вы же сделали ее несчастной, сбили с пути, лишили покоя, семьи!.. Отдайте же ей свою жизнь!.. Или жизнь эта дороже совести и чести?..

— Вы, молодой человек, слишком злоупотребляете этим словом, — произнес, с натянутой улыбкой, бледный как полотно Войновский. — Но вы слишком взволнованы, и я не принимаю ваших слов серьезно.

— Напрасно не принимаете! — вспыхнул Юрий.

— Позвольте, дайте мне докончить. Во-первых, я ничего не отнимал у особы, о которой вы говорите... лучшим доказательством чему служит эта сцена: вы объясняетесь со мною как оскорбленный муж...

— Не муж, а человек, защищающий другого.

— Ну человек!.. во всяком случае — близкий... А вы говорите, что я что-то отнимаю, разрушаю...

— Покой вы отняли!.. — гневно воскликнул Юрий. — Вы понимаете?.. спокойную совесть!.. А что вы дали? Что, — кроме обиды и позора!.. Так искупите же свою вину — я вам даю возможность.

— Такого злодея надо бежать, а не предлагать ему жениться.

Высокий лоб Войновского покрылся красными пятнами.

— Честь — понятие условное, — произнес он как-то неестественно громко, и в его бархатном голосе появились необычайные визгливые ноты. — Да и в делах любви... при чем тут честь?

Юрий замер и впился жадными глазами в это красивое, но ставшее плоским и жалким, в своем испуге, лицо.

Его рука, с тонкими пальцами, опираясь на спинку стула, вздрагивала при каждом слове Войновского, точно от прикосновения

электрического тока. Его неожиданное молчание раздражало и злило еще больше Войновского.

— Мы только идем женщинам на встречу. И в данном случае, — проговорил он с особенной злобой, — я только отвечал... я...

Косой солнечный столб дрогнул и весь всколыхнулся. Мириады пыльных точек потеряли плавность ритма и, прерванные в своем волнообразном кружении, смешались, закружились в хаосе дикой, необузданной пляски.

Войновский лежал на полу, и тут же, в нескольких вершках от его бледного лица, валялся тяжелый бронзовый подсвечник.

«Что это?.. Что это?!. Действительность или мучительный бред?»

Ужас леденил сознание Юрия.

Кровь текла из раны на виске и медленно скатывалась на пол по мертвому лицу.

Кровавая тонкая змейка предательски подползла к самым ногам Юрия.

Он выбежал в смежную комнату и закричал диким, не своим голосом.

— Я — убийца!!!..

И снова он перестал помнить, понимать...

XXII.

Ненси, несмотря на все доводы Марьи Львовны, за границу не поехала. Они поселились в небольшой, наскоро нанятой квартире в городе, вывезя из старой только необходимое.

И часто, часто, по вечерам, ездил она одна в шарабане на окраину города, к белой, высокой тюрьме, где содержался Юрий. Дальше темной лентой вилась дорога и тонула в туманной дали; еще дальше, узкой каймой вдоль синего неба чернела опушка леса.

Ненси нервно поворачивала лошадь, спасаясь от страшных воспоминаний.

В новой маленькой квартире никого не принимали, за исключением неизменного Эспера Михайловича. Но ни он, ни Марья Львовна не смели заикнуться Ненси ни о «деле», ни о ее внутреннем состоянии.

Совсем не религиозная, Марья Львовна теперь целыми часами простаивала перед старинным фамильным киотом. Она не молилась, а просто недоумевала перед бессилием своего нравственного банкротства и, движи-

мая чувством самосохранения, искала, без веры, в молитве опоры.

— Бабушка! — как-то сказала Ненси, — я не могу... т.-е. не умею... или не смею, что ли, просить... Ему, может быть, худо там... Так нельзя ли, чтобы облегчить... ты съезди...

Марья Львовна, скрепя сердце, поборов свою гордость и злобу против ненавистного ей Юрия, отправилась просить за него Пигмалионова.

Прокурор встретил Марью Львовну официально, как простую просительницу. Он не забыл всех своих неудач в ухаживаньи за Ненси и питал самые злобные чувства к ней. Однако он сухо и сдержанно, но все же обещал старухе, «в пределах законного положения вещей», исполнить ее просьбу.

Последствием этого разговора было то, что совершенно неожиданно для Юрия его перевели в лазарет.

Там каждый день стал навещать его фельдшер — маленький, бритый брюнет, койкой на один глаз — и раз в неделю доктор, беспристрастно и неизменно задававший ленивым голосом все одни и те же вопросы.

Фельдшер любил, обойдя больных, отвести душу с «интеллигентом».

Свиданий с Ненси у Юрия не было, а с матерью они были так тяжелы, что он невольно радовался, когда истекла законная четверть часа и наставало прощание. Наружно бодрая, Наталья Федоровна старалась всегда подбодрить и сына, но именно эта-то напускная бодрость раздражала и угнетала его еще больше: хотя благородная, но все-таки фальшь! И хотелось ему не раз резко и прямо высказать это, но другая благородная фальшь, вытекающая из боязни обидеть, сдерживала его порывы.

Таким образом отбывались, как обязанность, эти свидания и обоюдно не приносили ничего, кроме тяжелого, неудовлетворенного чувства.

Не подозревая всей истины, Наталья Федоровна искала причину этого печального явления только во внешней грустной обстановке и мирилась с этим как с неизбежным.

Временами Юрию так хотелось уйти — не от четырех желтых стен его камеры, — как ни странно, но они ему даже нравились, — а от

своего прошлого, от своих воспоминаний, от всего, что было связано с его внутренним «я». Желание это бывало до того острым, что хотелось удариться головой об одну из этих четырех стен, чтобы уничтожить все старое и найти другое, может быть еще худшее, но другое.

Тогда особенно благотворны были посещения косоного фельдшера.

Смущенный и встревоженный стоял иногда Юрий, по уходе фельдшера, среди камеры. Всколыхнулись какие-то, точно заснувшие мысли, и жгучее желание пойти искать — но не потерявшейся правды, а чего-то нового, чему нет еще имени на человеческом языке — охватило сердце Юрия. Ему стало вдруг как-то ясно, что правды искать нечего, что правда и без того живет во всем живом, но что другое должно явиться людям — и это не правда и не любовь, — а что-то огромное, вмещающее в себе и любовь, и правду. Он подыскивал слово, чтобы определить, но не мог. Какая-то жалость, мучительная и необъяснимая в своей причине, шевелилась в груди и рвалась оттуда на волю. И захотелось ему идти из края в край, идти долго и клик-

нуть клич, чтобы все пришли и объяснили ему или сами прониклись этой жалостью.

Всегда и раньше еще ему часто казалось, что оболочка, внешнее, слова, а иногда и поступки совсем идут врознь с внутренней жизнью души... Бывало так, что он глядел и не видел этого внешнего, точно слетала оболочка — кожа и мускулы, — оставалось перед ним одно только чужое сердце, прозрачное как стекло; он слышал тогда одни слова, а за ними явственно, из глубины чужого прозрачного сердца доносились до его слуха совсем, совсем другие. Он страдал, мучился этим разногласием; он не знал, как разбить, как уничтожить ненужную, возмутительную фальшь. И теперь, в настоящую минуту, здесь, среди стен, где томились длинные, скучные дни жертвы этой роковой фальши, он чувствовал ее еще больше, каждым своим первым.

— Душа ребенка... — произнес он громко, движимый охватившим его желанием говорить, — душа ребенка... всегда одна... и у всех... Пусть это вот... обидчик... ненавистник... убийца!..

Он вдруг остановился. Лицо его исказилось испугом, и он зарыдал судорожным, сдавленным рыданием — одними звуками, без слез. Да! Он — убийца, он — артист, с тонкой организацией души, он — способный к проникновению, он — умеющий видеть невидимое, он — простой, обыденный убийца!..

— Убийца!.. убийца!.. — повторял он, злобно стиснув зубы.

С этого дня он особенно жадно стал ожидать суда.

Со страхом и тайной надеждой ждала этого дня и Ненси.

— Как мне жить?.. Как мне жить... если приговорят?.. — спрашивала она себя с ужасом, стараясь, впрочем, не верить в мрачный исход.

— Бабушка, ты понимаешь... если... приговор... — решила она, было, только раз как-то начать, и не могла продолжать дальше.

Уже наступал конец апреля, когда назначено было заседание суда. В воздухе чувствовалась весна, но погода стояла пасмурная, все время дожди, — однако это не помешало отборной и неотборной публике наполнить

битком большой, поместительный зал местного окружного суда.

— Я всегда ждала подобного конца!.. всегда, всегда!.. — захлебывалась от восторга Ласточкина, упиваясь своим предвидением.

Серафима Ивановна, сидевшая возле нее, в первом ряду, только презрительно пожала узкими плечами, и, отвернувшись, стала рассматривать публику в свой длинный черепаховый лорнет. Беленький Крач чувствовал себя почему-то неловко и сконфуженно то моргал, то опускал глаза.

Раздалось, наконец, обычное: «Суд идет»!

Пигмалионов был оживлен, ожидая сражения с приехавшей защищать, по приглашению Натальи Федоровны, столичною знаменитостью.

Ввели подсудимого.

— А, знаете, он недурен! Даже красив!.. — трещала Ласточкина, обмахиваясь своим веером.

— Он больше чем красив, — сухо подтвердила Серафима Ивановна.

Однако разговор пришлось превратить — началось чтение обвинительного акта.

Приезжая знаменитость — столичный адвокат, несколько рисуясь, с равнодушным видом оглядывал зал.

Наталья Федоровна сидела в самом последнем ряду. На Юрия смотреть она не смела, боясь за свои нервы.

Ненси и Марья Львовна отсутствовали.

Пигмалионов произнес громовую речь, желчно доказывая испорченность подсудимого, причем не без яда задел и Ненси. Тут было все: и боязнь за колебание основ христианского учения, и страх за нравственный упадок в обществе, и просьба охранять свято закон, и воззвание к совести присяжных, и строгое им предписание не расплываться в слащавой чувствительности...

— Вы пришли судить, — вы помните: судить, — торжественно заключил он обвинение, — судить, а не благодворить.

Встал столичный лев. Он начал говорить тихо, отрывисто, будто взволнованно, поминутно отирая лоб платком и отпивая маленькими глотками воду из стоящего возле стакана. По мере нарастания речи повышался тон и голос; оратор видимо себя взвинчивал, и

последние фразы почти прокричал повелительно и властно. Он дышал тяжело, лоб его действительно покрылся потом.

Когда председатель обратился к Юрию, глаза публики впились в красивое, измученное лицо подсудимого.

Суд утомил его; лицо осунулось и пожелтело, а по углам губ пробегали нервные судороги, но он ответил ровным, спокойным голосом:

— Я виновен. Прошу законной кары.

Весь зал, как одна грудь, точно вздохнул печальным, разочарованным вздохом.

Присяжные ушли. Зал замер в напряженном ожидании: отрывистое чье-то слово... восклицание... чей-то шепот... кто-то заспорил и — снова молчание.

Присяжные вынесли оправдательный вердикт. И опять, как из одной груди, вырвался радостный, громкий вздох облегчения.

Смеясь и плача, в одно и то же время, бросилась Наталья Федоровна в сына:

— Мой! мой! мой! мой! — твердила она одно только слово, смачивая слезами и осыпая поцелуями его волосы, лицо, руки...

XXIII.

На другой день, в гостинице, где остановилась Наталья Федоровна, состоялось свидание между Юрием и Ненси. Мать оставила их вдвоем.

Они долго сидели молча, с опущенными вниз глазами, боясь поднять их. Им было страшно. Ему казалось, что вот, за этим немного похудевшим, но прекрасным лицом, стоит знакомый призрак высокого, бледного человека, с темными глазами... Вдали, как бы в тумане, большая комната, залитая светом, красного дерева стол, косою снопом солнечных лучей, играющие в нем пыльные точки...

Юрий едва сдержал готовый вырваться из груди стон и крепко стиснул руки, так что хрустнули пальцы.

— Так вот, — минуту спустя, сказал он глухо, — нам надо начинать жизнь снова...

Он остановился, не зная, что говорить дальше. Она его не прерывала, продолжая сидеть с опущенными глазами. Стало тихо. Среди упорной жуткой тишины громко бился маятник о стенки металлического будильника.

Они прислушивались к этому назойливому, трепетному звуку, и им казалось, что это их собственные сердца так безнадежно, так тревожно бьются о крепкий металл.

— Так вот, — начал он снова, — у нас есть дочь... так вот я... я предлагаю... если конечно... поселиться в деревне... так можно хорошо... и если... я готов всю жизнь... т.-е. если вы можете простить... забыть...

Это «вы», сказанное им, вызвало краску на его лице, и он добавил уже почти шепотом:

— Конечно, все зависит от вас.

Но он тут же, сейчас же понял, что сам ни забыть, ни простить — не может. Неприязненное чувство против нее и отчасти против себя заставило его злобно сдвинуть густые брови.

Она решилась поднять глаза. Испуганная его недружелюбным взглядом, она тоже вспыхнула. Она почувствовала, что иначе смотреть он не может; ей стало больно невыносимо, почти физически. Не зная, как и почему — точно это были не ее, а чужие слова, — вся внутренно дрожа от волнения, она произнесла тихо и печально:

— Нет. Я очень благодарна... но нельзя...

Он вздрогнул от звука ее голоса, прозвевшего погребальным звоном среди тяжелой тишины; хотел возразить, убедить, просить — и не мог.

Все, о чем думалось ему в длинные одинокие дни, в темные, тоскливые ночи заключения, — все, что он собирался сказать ей при свидании, мечты о будущей совместной жизни и мягкое любовное, всепрощающее отношение, и надежды вернуть прежнее счастье — все это куда-то исчезло, потонуло в душевной боли, в корне которой лежало злое, мстительное чувство, и он не мог его ни уничтожить, ни победить. Если бы он в силах был разобраться в себе в эту минуту, он понял бы, что в нем говорят: ревность оскорбленного мужчины к прошлому, — и потеря веры в будущем, и страшное, безотчетное сознание своей неправоты. Ему тяжело было присутствие Ненси, тяжело и неприятно. Он знал, что ей тоже больно невыносимо, он знал, что боль эта в нем и в — ней неиссякаемая, неизлечимая, вечная.

«Да что же это? Довольно!» — хотел он

крикнуть; а ей хотелось плакать громко, громко, так, чтобы не слышать ничего, кроме собственного плача.

— Относительно ребенка, — едва проговорила она, глотая слезы... — Так относительно ребенка надо решить... Я... после...

— Как угодно: я не насилую, не тороплю...

И оба они сразу почувствовали холод смерти вокруг себя и в себе.

В груди у обоих вдруг образовалась какая-то мучительная пустота, и между ними все выше и выше росла, поднималась невидимая, но ясно осязаемая стена. Она хоронила прошедшее, заслоняла будущее, сокрушала настоящее.

Злое чувство еще больше охватило Юрия. Куда девалась безмерная нежность, что жила в нем до злополучного свидания? И вот она, эта женщина, здесь, перед ним, бледная, ожидающая. Он пытался улыбнуться, взглянуть ласково, и чувствовал, как нехорошая, недобрая улыбка кривит его губы, глаза против воли не могут остановиться на милом когда-то и теперь все еще милом лице, а смотрят в сторону сердито и угрюмо. Но почему? Он сам

этого не знал, а побороть себя не мог. Пусть всякое ей счастье, радость, успех в жизни, но только дальше, дальше от нее!.. Ее глаза, лицо, волосы, голос, движения — все раздражало его.

Она смотрела как подстреленная птица. Испуг, надежда, отчаяние горели в ее лучистых глазах. Ей хотелось уловить его взгляд, задержать его хоть на минуту. Ей казалось, что раз это случится — рухнет страшная стена, и какое-то высшее откровение осветит их разум и сделает ясным что-то для них теперь недостижимое, неизвестное.

Но он упорно продолжал смотреть куда-то мимо, точно в комнате не было еще другого живого лица. Красивые серые глаза его стали почти черными и своим мрачным огнем напминали глаза безумца. Стена становилась все несокрушимее, пустота — все безнадежнее. Они сидели друг против друга, как два непримиримых врага. Их мертвая любовь была бессильна.

Ненси встала и быстро, бесшумно вышла из комнаты.

Он продолжал сидеть неподвижно. Ни

один мускул не дрогнул на лице, только глаза стали будто еще темнее и по бледным, исхудалым щекам тихо скатились две крупные слезы. С болезненным напряжением слушал он упорный тик-так маятника в будильнике. Минуты летели, а с ними все дальше и дальше уносились воспоминания, тревоги, муки, радости, мечты...

Ступив на тротуар освещенной электричеством улицы, Ненси очнулась и опустила вуаль на заплаканное лицо. Она стала подвигаться в дому, выбирая самые безлюдные улицы. Ветер дул ей на встречу, освежая пылающие щеки, и холодил грудь. На душе у нее было так, как бывает, когда возвращаешься с похорон милого, близкого человека, но только еще безотраднее. Ни заколоченного гроба, ни земляной насыпи, ни надгробного пения, ни рыданий! Лишь в глубине души зияла черная, глубокая могила, ни для кого не видимая, но тем еще более страшная.

Ненси потерялась в хаосе чего-то бесформенного и бесконечного: уныние, беспомощность, полная прострация чувств и мыслей и в то же время сознание неизбежного, непре-

оборимого в этом бесформенном и бесконечном.

— Должно бы так быть, но нет — так не будет! Но почему же так не будет, когда должно? — тоскливо спрашивала Ненси.

— Должно, но не будет! — отвечал неумолимый внутренний голос.

Вернувшись домой, Ненси крикнула под дверьми бабушкиной комнаты:

— Не беспокойся, все устроилось отлично. Я ложусь спать — у меня голова болит. Завтра расскажу все.

Пройдя прямо в себе, она заперлась на ключ. Выдвинув ящик письменного стола, она вынула оттуда пачку перевязанных лентой писем. Медленно и задумчиво перебирала она листы, исписанные широким, размашистым почерком. Медленно скатывались слезы, упали на бумагу и, смешанные с чернилами, расплывались на бумаге причудливыми узорами. Окончив чтение, Ненси подошла в небольшому камину, бросила письма и подожгла их. Она бросила их с таким ощущением, как бросают землю на крышку поставленного в могилу гроба, чтобы звенящий звук

ударившейся земли как бы подтвердил, что кончено все. Когда, судорожно вспыхнув, погас последний язычок синеватого пламени, и от дорогих воспоминаний осталась только маленькая кучка черно-серого пепла, Ненси вернулась к столу и написала:

«Я погубила вашего сына. Вы имеете право ненавидеть меня. Но если бы вы знали, как я сама себя ненавижу и до чего я глубоко несчастна... Я нахожусь теперь как бы на высокой горе, земля подо мною осыпается, и мне, все равно, не удержаться. Я не могу разобраться ни в том, что во мне, ни в том, что вокруг меня. Я знаю, что все это не так, а как надо — не знаю... Все это, впрочем, не важно. Нужно решить вопрос с моею дочерью. Как я могу кого-нибудь воспитывать? Я — сорная трава, которая только может мешать. Зачем мешать здоровому, прекрасному цветку?.. Сегодня ваш сын великодушно предложил мне начать новую совместную жизнь, но мы оба сразу почувствовали, что это невозможно, и я сказала ему — «нет», а он не настаивал... Возьмите мою дочь, — это

необходимо, чтобы спасти ее. Я знаю — забыть нельзя горе, какое я посеяла в вашей семье, но неужели ненависть, или отвращение, или презрение во мне могут отразиться на маленькой, ни в чем неповинной девочке, так трагически вступающей в жизнь? Нет, я знаю — вы ее спасете, и облик ее матери не омрачит вашей любви к невинному ребенку. Прощайте и простите.
— Ненси».

XXIV.

Запечатав письмо, Ненси разбудила горничную, приказав ей тотчас же опустить его в ящик. Затем она прошла в детскую.

Ребенок крепко спал в своей белой с переплетом кровати. Ручки раскинулись поверх розового атласного одеяла; вьющиеся белокурые спутавшиеся волосы спустились на лоб, щеки разгорелись.

Ненси села возле кровати. Ребенок засмеялся во сне.

Из противоположного угла доносился храп толстой няньки. Перед большим образом Спасителя, мигая, теплилась лампада.

Ненси грустно смотрела на продолжавшего улыбаться во сне ребенка.

— Неужели и ты не избежешь общего проклятия?.. И тебя будут также искать и радоваться твоей гибели? И тебе это будет нравиться, и ты будешь сама добиваться и с опаленными крыльями снова и снова лететь на огонь?..

Она с тоской смотрела на разгоревшееся пухлое личико. Ребенок все улыбался. Вдруг

маленький лобик наморщился, вокруг губ образовались складки, и раздался громкий жалобный плач.

Нянька, кряхтя, встала с постели, приподняла ребенка и перевернула его на бок.

Ненси нагнулась, чтобы поцеловать ребенка, но он беспокойно замотал головой. Ненси ушла.

Она чувствовала страшную усталость. С блаженством улеглась она в постель и забылась. Но сон ее был тревожен.

Ненси то видела себя едущей по железной дороге; внезапно вдруг останавливался поезд, она в тревоге выскакивала из вагона, изломанные рельсы беспорядочно валялись по земле, но паровоз поворачивал в сторону; длинный поезд, дымясь и гремя цепями, с пронзительным свистом, проносился дальше... А Ненси стояла одна, брошенная посреди пути в ужасе и отчаянии, не зная, что делать... Она кричала, плакала, звала на помощь — протяжный свист лишь был ей ответом, да клубы разорванного дыма, как бы дразня, летали в воздухе.

— Ой, нет!.. Спасите!.. Не могу больше!.. не

могу!.. — сквозь сон стонет Ненси и просыпается.

Комната с закрытыми ставнями напоминала гроб. Непроницаемая мгла — и ничего больше. Ненси решила не спать, боясь новых сновидений. Еще не оправясь от испуга, смотрела она, широко раскрыв глаза, в плотную, похожую на черный покров, тьму...

И вдруг из этой тьмы поплыли на нее неясные, точно сотканые из белого тумана, видения... Сначала бесформенные, причудливые, как клубы дыма, они принимали все более и более определенные очертания: вот руки... головы... глаза... человеческие лица...

Ненси, приподнявшись на локоть, смотрела с ужасом и любопытством.

Их было много... без счета... Молодые... старые... безусые... бородатые... красивые... безобразные... Они плыли со всех сторон... Они все были непохожи друг на друга, лишь взгляд был один и тот же — похотливый, жадный, торжествующий взгляд... Черные томные глаза с поволокой блеснули близко, у самого лица Ненси... Она узнала их... был тут, он протягивал к ней руки, а за ним — весь

сонм белых видений...

— Уйдите!!.. — вне себя вскрикнула Ненси, упавая на подушки.

Она боялась пошевелинуться. Она чувствовала, что еще здесь... все равно, хотя убитый... Он, а за ним они... Убит один... а их... их много...

Она замерла, застыла в ужасе, но ее мозг, разгоряченный и больной, работал непрерывно.

«Все это страшно просто, enfant chérie», — выплыло откуда-то, из глубоких недр сознания. И Ненси поняла, — поняла и содрогнулась.

— Да, это просто... Просто и страшно!

Ненси вскочила. Сквозь щели ставень уже пробивался свет. Неодетая, с распущенными, взбитыми волосами, с воспаленными, широко раскрытыми глазами, бросилась она в комнату бабушки.

Марья Львовна еще спала. Шум распахнувшейся двери разбудил ее. Она вся встrepенулась и с испугом смотрела на Ненси.

Освещенная мигающим желтоватым пламенем лампы и через ставни пробиваю-

щимся рассветом, бледная, с безумным, лихорадочным взглядом, Ненси была страшна. Она шла прямо в постели, как грозный ангел мести...

— Бабушка... я... тебя проклинаяю!.. — произнесла она злобным шепотом, почти задыхаясь.

Марья Львовна вздрогнула и приподнялась в недоумении.

— Я проклинаяю тебя... слышишь?..

— Ты с ума сошла?

— Я проклинаяю тебя!..

— Mais tu es folle...[169]

— Зачем ты отравила меня?.. Ты и все вы?..

— *Enfant chérie... enfant chérie...* — могла только проговорить Марья Львовна.

Ненси опустилась на колени возле кровати и, закинув за голову обнаженные белые руки, смотрела злобно и так неотрывно, точно хотела сжечь своим взглядом несчастную, растерявшуюся старуху.

— Ты радовалась... ты наслаждалась... вам всем было весело... А я... я ненавижу — ты пойми — я мучусь... я страдаю... слышишь?.. Зачем вы отравили меня?

Слова вылетали из ее тяжело дышущей груди, сопровождаемые громкими придыханиями; голос был хриплый, будто чужой.

Вдруг, в глубине расширенных, горячечных зрачков вспыхнул еще более мрачный огонь, точно увидела она перед собою что-то новое и ужасное.

— Сумасшедшая! — успела только крикнуть Марья Львовна, порываясь встать.

Ненси была уже возле туалетного стола. В ее руках сверкнуло что-то блестящее, и прежде чем успела опомниться помертвевшая от ужаса бабушка, — густые пряди ее волос, скользнув по обнаженным плечам, легли у ее ног, а сама она бросилась в свою комнату.

Марья Львовна не понимала, сон это или действительность?

Она решилась наказать равнодушием непокорного, злого ребенка. Но гнев ее продолжался недолго. Она быстро оделась и побрела в комнату Ненси.

Марья Львовна сама теперь была похожа на привидение. В этот короткий час она, казалось, состарилась сразу на несколько лет.

На полу, возле постели, лежала Ненси в

глубоком обмороке. Испуг Марьи Львовны был так велик, что она не в силах была позвать кого-нибудь на помощь.

Наконец, мало-помалу, придя в себя и убедись, что это только обморок, Марья Львовна несколько успокоилась.

— Никто... никого... я... я сама... одна, — было первою ее мыслью.

Долго Марья Львовна не могла справиться с волнением, но когда вышла из комнаты Ненси, лицо ее уже было спокойно, и она твердым, ровным голосом отдала приказание — послать за доктором.

Прибывший тотчас же доктор ничего не сказал определенного, найдя острое горячее состояние исключительно на нервной почве.

Едва уехал доктор, как доложили о приезде Натальи Федоровны.

Марья Львовна вся вспыхнула от негодования и велела отказать. Ей казалось немислимым видеть кого бы то ни было из тех, которые были причиной несчастий ее Ненси.

Горничная пришла снова, объявив, что «очень, очень нужно», так как «барыня прие-

хали, вытребованные по письму».

— Я бы желала видеть Ненси, — сказала Наталья Федоровна, идя на встречу появившейся в гостиной Марье Львовне.

— Видеть нельзя, и я попрошу вас не беспокоить ее ни письмами, ни посещениями, — резко проговорила старуха, не подавая руки гостю и не приглашая ее сесть.

Наталья Федоровна сконфузилась. Не зная, как поступить, что сказать, она поспешно вынула письмо из ручного саквояжа и протянула его Марье Львовне. Та сделала движение рукой, чтобы отстранить сложенный лист, но, увидав почерк Ненси, схватила с живостью письмо и, присев на первый попавшийся стул, принялась читать.

Письмо поразило ее. Ужасная ночь стала понятной. В больших черных глазах блеснули слезы.

— Берите — на то ее воля, — проговорила она дрогнувшим голосом, возвращая письмо.

Лицо ее было печально и строго. Из спальни донесся легкий стон.

Марья Львовна поспешно встала и направилась к дверям. Дойдя до них, она вдруг

обернулась.

— Вы берете ее дочь, — сказала она медленно и протянула ей руку.

Наталья Федоровна ответила тем же... Было что-то торжественно-скорбное в этом обоюдном пожатии рук, — точно обе эти женщины безмолвно заключили союз.

— Не оставляйте меня без известий, — произнесла взволнованно Наталья Федоровна.

Старуха наклоняла утвердительно голову, и они расстались.

В спальне был полусвет. Солнце пробивалось сквозь плотную материю темных штор и яркими бликами пестрило паркет. Ненси лежала в полузабытьи, с закрытыми глазами; губы ее шевелились, из них изредка вылетали бессвязные, отрывистые слова. Тонкие, бледные руки лежали поверх одеяла; кое-где, по краям длинных розовых царапин темными крупинками запеклась кровь. Марья Львовна старалась не смотреть, и против воли не могла оторвать глаз от этих бледных, так безжалостно, так кощунственно изуродованных рук. Она чувствовала какую-то свою огромную вину, но не могла найти ее. Она

вспоминала прошлое, разбиралась во всех мелочах, и все-таки не могла найти. Ей было только жалко, мучительно жалко и больно без конца.

— Oh, quelle souffrance![170]- и она мысленно давала клятву окружить еще большей любовью, заботами, лаской, вниманием, роскошью свою милую, бедную Ненси.

Ненси раскрыла веки. Мутный взор ее упорно и бесцельно устремился на Марию Львовну. Но она не узнала бабушки, она была без сознания.

А в это время из дверей дома, навсегда отрывая от матери, уносили хорошенькую, веселую, нарядно одетую девочку. Она подпрыгивала на руках у няньки и, громко чмокая маленькую, пухлую ладонь, посылала ручонкой воздушные поцелуи в пространство...

Поезд мчался на всех парах. Уже давно проехали границу, миновали Торн, Бромберг, Крейц, Бюстрин... Подъезжали в Берлину.

В отдельном купе первого класса помещались две дамы, обращавшие на себя еще в России внимание пассажиров. Это были Ненси и изящная в своей старости Марья Львовна.

Бабушка — бодрая, веселая, жизнерадостная — чувствовала себя счастливой. Самый воздух, едва переехали оне границу, казался ей другим: он тоже был свободен, как они; а главное, Ненси — опять ее Ненси, неотъемлемая, нераздельная...

Они ехали на воды, куда послали Ненси доктора, для поправления здоровья; а она была очень и серьезно больна, о чем не подозревали ни сама она, ни бабушка.

Жизнь в Виши, куда они приехали, шла своим традиционным порядком, установленным почти одинаково на всех курортах. В казино гремела музыка, в парке — нарядные больные дамы весело лечились и разом уби-

вали двух зайцев: принимали ванны, пили целебную воду из красивых стаканчиков и, прогуливаясь с изящными кавалерами, губили сердца намеченных жертв. На главных улицах, в богатых отелях жизнь кипела ключом. Казалось, что все съехались сюда на бесконечный, веселый пир; и только в отдаленных уголках прелестного городка, где приютились более ограниченные в средствах, было тихо, и больные походили на действительно больных.

Приехавшие сейчас же втянулись в общий строй жизни. Оказалось много русских. Завязались знакомства. Встретили даже одну старую знакомую, приятельницу Марьи Львовны — Юлию Поликарповну Зноеву. Теперь это был почти живой труп. Без ног — ее возили в креслах, — высохшая, с притянутой в костях смуглой кожей, она была жалка. Но в небольших, выцветших карих глазах ее злобно и беспокорно горел страх опасения за угасающую жизнь, и тем еще больше усиливал беспомощность убогой старухи.

При ней состояла некрасивая, огромного роста, атлетического сложения, пожилая де-

вица, Валентина Петровна Карасева — Валя, как называли ее сокращенно, что очень мало шло к огромному росту, огромным рукам и крупным чертам ее лица. Валя жила уже лет десять возле Юлии Поликарповны, сначала в качестве компаньонки, а после — *garde-malade*[171], и совершенно подчинила себе больную старуху, обращаясь с ней властно, а подчас даже грубо. Та в ней души не чаяла, на что Валя отвечала затаенной ненавистью и желанием поскорее отделаться от несносной обузы. Желание это сделалось особенно нетерпеливым с тех пор как Юлия Поликарповна написала духовное завещание, в котором отказывала Вале все свое небольшое состояние.

Марья Львовна, вместе с Ненси, часто посещала старую приятельницу. Разговор вертелся обыкновенно на воспоминаниях о днях блестящей молодости. Юлия Поликарповна была, в свое время, очень хорошенькой и интересной женщиной.

В конце концов, все-таки больная возвращалась в своей излюбленной теме — жалобам на докторов, не понимающих ее болезни.

— Последний раз приезжаю сюда, последний!.. Совершенно бесполезно... — раздражительно брюзжала она, — а? правду я говорю, Валя?

— Да, — следовал лаконический ответ.

— Они совершенно ничего не понимают — не лечат, а залечивают до смерти... а? Правду я говорю, Валя?.. Не хочу умирать... не хочу... Уеду в Россию и найму дачу в Петергофе... Страшно люблю Петергоф... Н-нет, довольно, не поддамся!.. а? правду я говорю, Валя?

— Да молчите, вам вредно... Помрете — так помрете, а будете живы — так будете... Нашли интересный разговор... веселый!..

— Ну, ну, хорошо... — и Юлия Поликарповна благодушно улыбалась во весь свой беззубый рот. — Любит меня это создание ужасно, — указывала она пергаментного цвета, иссохшей рукой на Карасеву. — Всех хочет уверить в своей суровости, а сердце — воск! а? правду говорю, Валя?

— Да отстаньте!..

— Бабушка, тебе не странно, почему Юлия Поликарповна так любит жизнь? Мне кажется, она привыкла к ней — слишком долго жи-

ла, — обратилась как-то на прогулке Ненси к Марье Львовне.

— Все любят жизнь.

— Ты веришь в будущую жизнь?.. А если нет — жизнь нужно ненавидеть.

Марья Львовна стала в тупик. Она знала из символа веры о «жизни будущего века», но как-то никогда не задумывалась над этим, находя земное существование слишком привлекательным.

Они уже подошли к отелю. Ненси чувствовала себя в этот вечер очень оживленной, и искренно жалела, прислушиваясь в доносящейся из казино музыке, что, по предписанию докторов, должна была рано ложиться спать.

Она села у открытого окна, с наслаждением вдыхая ароматный воздух. Солнце только что закатилось; из парка неслись волны благоуханий; музыка приятно убаюкивала нервы... Хотелось упиться этим воздухом, этим благоуханием, этой музыкой.

Беспричинная тоска, мучившая ее периодически, а за последнее время почти постоянно, стала даже какой-то сладкой.

Пошел вдруг дождь, — теплый, веселый, летний дождь. Воздух, насыщенный влагою, стал еще ароматнее.

— Ненси, закрой окно! — раздался из другой комнаты голос Марьи Львовны.

— Нет, бабушка, тепло... чудный вечер!..

Дождь шумел ласково и таинственно.

Капли разбивались о железный выступ подоконника, мелкие брызги от них летели в комнату, попадали на руки, на лицо Ненси.

Тоска ее перестала быть сладкой. Ей показалось, что она уходит сама от себя куда-то далеко-далеко. Это было до того жуткое, томительное ощущение, что она готова была заплакать от страха и досады. Она хотела остановить, вернуть себя, но не такой, как теперь, а какую она была еще давно, ребенком.

С этого вечера ею овладело лихорадочное, нервное, напряженное состояние. Оно страшно раздражало ее. Ей все представлялось, что она не успеет или позабудет сделать что-то необходимое, неотложное.

Так бывает при отъезде, когда, торопясь, собирают вещи, отдают приказания, боятся что-нибудь забыть. И она торопилась все вре-

мя: спешила взять ванну, оттуда хотела скорее домой, потом скорее гулять, потом скорее отдыхать. Ночью ее мучила бессонница и головные боли, а днем — несносные голод и жажда. Она не могла выносить появившейся у нее сухости кожи, особенно на руках, и плакала, растирая их, чтобы вернуть прежнюю эластичность.

Марья Львовна с ужасом смотрела на ее исхудание. Доктора осторожно высказали свои опасения относительно быстрого развития болезни; но Марья Львовна не допускала мысли о неблагоприятном исходе, и скорее готова была согласиться с Юлией Поликарповной, что докторам не нужно очень доверять, так как они ничего не понимают, и вечно преувеличивают, чтобы раздуть свои заслуги.

Ненси худела, худела, таяла... Она становилась какою-то прозрачной; а глубокая тоска, притаившаяся в ее чудных глазах, делала их загадочными и еще более привлекательными.

У нее появилась страсть в белому цвету, который она и раньше любила; теперь же она

была всегда неизменно в белом туалете, с букетом цветов у пояса.

Ее заставляли как можно больше бывать на воздухе, особенно в солнечные дни; а так как она быстро утомлялась, — за нею катили кресло.

Гуляя как-то по парку, она заметила молодого еще человека, особенно пристально смотревшего на нее, точно он был знаком, и боялся, что она его не узнает. Она стала припоминать, не встречалась ли где-нибудь с незнакомцем, но лицо его было ей совершенно неизвестным.

Лицо это поражало своей необыкновенной сосредоточенностью. Темно-русые волосы, несколько длинные для мужчины, окаймляли, точно рамкой, бледное, худощавое лицо; мягкая борода была темнее волос; рот, несколько крупный и ярко-пунцового цвета, не соответствовал выражению глаз. Глаза говорили о небе, а рот напоминал о земле. Это противоречие делало лицо особенно интересным и исключительным. Незнакомец появлялся везде, куда ни показывалась Ненси. Он смотрел ей прямо в глаза и видимо пытался

поймать ее взгляд. И это нисколько не было оскорбительным, потому что выражение, с каким он смотрел на нее, было какое-то необыкновенное: точно смотрел он не на нее, а на кого-то другого, через нее.

И она, и бабушка заинтересовались, в свою очередь, странным господином. Он был русский, они это знали, потому что слышали, как он разговаривал по-русски с кем-то в казино.

Был чудный солнечный день; но солнце не палило, не жгло, а только, мягко лаская, согревало. Игривый, легкий ветерок шелестил листву и вносил необычайную свежесть в воздух.

Ненси сидела в большой, тенистой аллее одна, без бабушки. Марья Львовна отправилась навестить Юлию Поликарповну. Ненси чувствовала себя в этот день бодрее, и ее кресло осталось в саду отеля.

Незнакомец прошел мимо Ненси. Вернулся. Опять прошел мимо. Когда проходил он в третий раз — невольная улыбка скользнула по губам Ненси, и в голове промелькнуло шаловливое желание познакомиться с этим, так упорно ее преследующим человеком.

Должно быть, он угадал ее мысль: в глазах его вспыхнула радость. Он смело, решительно подошел в Ненси и отрекомендовался русским художником — Антонином Павловичем Гремячим.

Он сел на скамью возле Ненси.

— Вы простите меня, — сказал он, несколько конфузясь, — за мою смелость... но я, вот уже второй год, ищу ваших глаз.

Голос у него был слегка вибрирующий, но удивительно красивый, музыкальный: ни одного неприятного звука, каждая нота ласкала слух.

Ненси поразила таким оригинальным вступлением.

— Разве вы видели меня когда-нибудь?

— В жизни — нет, но в душе, в воображении — видел. Не только видел — искал везде... Меня мучили ваши глаза.

Ненси не нашлась, что сказать — до того удивил ее этот ответ.

Гремячий улыбнулся. Когда он улыбался, сосредоточенность его худощавого лица пропадала — оно делалось круглым и принимало почти детское выражение.

— Я вам кажусь чудаком, не правда ли? Но если вы захотите понять... т.-е., нет... не понять, а почувствовать правду в моих словах — вам не покажутся ни они, ни мои поступки странными... Хотите?

— Да, — ответила Ненси тихо, вся проникнутая любопытством и необъяснимой робостью.

— Но вы не сочтете меня за нахала? Вы не обидитесь — ведь нет?.. Послушайте... На меня нельзя вам обижаться... Я так счастлив, так счастлив!.. Я вас нашел... не вас именно, а ваши глаза... мою идею... образ!

Любопытство Ненси возрастало.

— Вы мне позволите писать с себя?.. Послушайте: ведь вам нельзя мне отказать — это будет ужасно!.. И этого не может быть... Ведь вы позволите... сегодня же?!

— Право, я не знаю, — сконфуженно проговорила Ненси, растерявшаяся от неожиданной и слишком смелой просьбы со стороны нового знакомого.

Лицо Антонина Павловича затуманилось.

— Вот видите... я вам кажусь смешным или чудаком. Но слушайте: пять уже лет как

меня охватила одна мысль. Меня преследует сюжет... Послушайте... Большое полотно... масса воздуха... в нем две женские фигуры: Жизнь и Смерть... Жизнь написать далось легко... Потом стал писать я Смерть... Бросал, опять принимался — и совсем бросил... В душе моей возник какой-то образ, но до того неясный, что выразить, облечь в форму не было сил. Я стал искать его везде... Я ездил по России, потом уехал за границу... Мне нужно было найти нечто прозрачное... болезненное... а главное — глаза... Я стал посещать курорты... Прошло два года бесполезных скитаний, я был близок к отчаянию, хотя я гнал, что я должен найти... И вот — это ваши глаза.

Ненси отшатнулась в испуге.

— Благодарю вас... Я не желаю!.. — проговорила она, волнуясь.

Но Антонин Павлович, в своем экстазе, не замечал или не хотел заметить ее испуга.

— Тоска... проникновение... и что-то манящее, обещающее — это Смерть!

— Нет, нет!.. Оставьте меня в покое... оставьте меня!..

Гремячий вскинул на нее свои красивые

Глаза.

— Вы боитесь смерти?

— Оставьте, я не хочу об этом говорить...

— Вы боитесь оттого, что не поняли... Вы представляете ее себе как вас учили в детстве: страшным скелетом с косой в руках — не правда ли?.. Вы не знаете, что это дивный, дивный ангел, с необыкновенными, божественными глазами!.. Это сама поэзия!.. Вы не знаете, что ее не нужно бояться, а с первых дней сознательного существования — ожидать, как лучшей минуты... потому что в ней — свобода!..

Ненси вся как-то притихла. Увлёк ли ее энтузиазм, с которым высказывал свою мысль этот странный человек, или самая мысль поразила ее — но только все в ней притихло.

— Есть идеи, — продолжал он с тем же огнем, — есть мысли, для которых нет слов — им нужен образ... Они живут в душе... не в сознании, а в душе... Их нужно чувствовать без слов... Они являются, как просветление... Им нужно верить.

В конце аллеи показалась Марья Львовна, в светло-сером летнем платье.

Ненси повернула свое раскрасневшееся лицо к Гремячему.

— Хорошо... вы будете с меня писать, я... я согласна... Но вот идет бабушка, при ней нельзя говорить — вы понимаете — она старуха... она... ей будет страшно... Вы скажите, что просите меня позировать, но не говорите — «смерть», не говорите ради Бога... и, вообще, лучше оставьте — я сама скажу все.

Она произнесла все это скороговоркой, задыхаясь. Когда подошла Марья Львовна, оба они молчали.

— Бабушка, наш соотечественник, Антонин Павлович Гремячий.

— Очень приятно.

Марья Львовна подсела к ним.

— Антонин Павлович — художник.

— Мы обе — большие поклонницы живописи... И моя внучка когда-то даже много занималась...

— Вы пишете? — с живостью обратился Гремячий к Ненси.

— Нет, — только брала уроки недолго... и люблю...

Он довел их до отеля. Больше они в этот

день не виделись, хотя Ненси выходила еще раз перед ванной. Она прошла мимо него, с опущенными глазами, и была такая озабоченная, как бы расстроенная — он не решился заговорит с нею.

Вечером Ненси долго не могла уснуть, но ей мешала не ее болезненная томительная бессонница, а до того сильное возбуждение нервов, что она почти не испытывала своих обычных болевых ощущений и даже отвратительной жгучей жажды. Она переживала удивительно сложное душевное состояние: впечатление встречи, знакомства, разговора с Гремячим — все это сосредоточилось у нее в одном понятии — «смерть»... И точно в нее вселилось какое-то другое, новое существо. Оно до полной иллюзии чувствовало эту «смерть», и нисколько не страшилось. И это было так необычайно, так мучительно приятно.

Ненси с нетерпением ожидала наступления дня, чтобы снова возобновить разговор с «странным», так мало похожим на других людей, человеком.

— Бабушка, — сказала она, утром, перед

тем как идти к источнику, — если мы встретим нашего нового знакомого — пригласи его зайти к нам — он интересный...

— Я очень рада.

— Он хочет писать с меня... Меня это займет.

— Но это утомит...

— Нет, можно, ведь, на воздухе... Я, все равно, целыми часами сижу в своем кресле...

Гремячий ожидал уже ее в парке. Он был во всеоружии художника: с складным, походным мольбертом и большим красного дерева ящичком, в котором лежали палитра, кисти и краски. Ненси взволновалась...

— О, да какой вы нетерпеливый!.. — весело заметила Марья Львовна.

— Мы займемся через полтора часа, — сказала Ненси. — Вы знаете — у меня обязанности больной, — прибавила она, улыбаясь.

Первый сеанс, однако, не удался. Работа не клеилась. Лицо Антонина Павловича было сумрачно. Он делал наброски небрежно, точно нехотя. Ненси поняла: его стесняло присутствие Марьи Львовны.

Она сказала, на другой день, бабушке:

— Он не может, я это вижу, писать при тебе; а мне интересно, чтобы он писал.

С этого дня Гремячий мог свободно отдаваться настроению. Он заходил обыкновенно за Ненси и, сопровождая ее на прогулку, сам вез кресло, чтобы не брать никого постороннего.

Марья Львовна проводила это время у Юлии Поликарповны.

XXVI.

По-прежнему стояли теплые, ясные дни. Сама природа как бы помогала Гремячему. Он писал каждый день. Набросав бесчисленное количество эскизов карандашом, он приступил теперь в краскам.

Как-то Ненси и он сидели под большой, развесистой липой. Сеанс был особенно удачен. Гремячий работал с необыкновенно сильным подъемом, но без всякой напряженности. В глазах светилось вдохновение; он был объят его могучей силой. И Ненси, со всею чуткостью своих измученных болезнью нервов, невольно прониклась его настроением, как бы участвуя вместе с ним в загадочном процессе творчества.

— Талант... тайна таланта... как понять ее?.. — взволнованно произнесла Ненси.

Гремячий улыбнулся своей детской улыбкой, а в глазах его еще не потух тот огонь, что говорил о высшем наитии только что пережитых минут.

Он наклонил рукой висевшую над ним большую, густую ветвь. Ее тонкие, с зубчаты-

ми краями листья трепетали.

— Вот, — сказал он, — живая ткань... дыхание жизни... Жизнь веет везде... мы ощущаем... Зрение дает впечатление мягкое, ласкающее — мы наслаждаемся... Но как понять?..

Он выпустил из рук ветку. Она размашисто закачалась, прежде чем приняла прежнее положение.

— Так и человек — качается... долго... пока найдет.

— А страсти?.. — нервно перебила Ненси.

— Страсти — фикция... Воображаемые двигатели мира.

— А если страдаешь?

— Когда я увлекался чувством...

— Вы?

— Почему вас это удивляет?.. Я таков по природе... Теперь это пережито... и больше не вернется.

Он тихо-тихо вздохнул, коротким, как бы облегченных вздохом.

— Так вот, я хочу рассказать вам... — Он положил в сторону кисть. — Когда я увлекался, все раздражало чувственных образом мои нервы, волновало кровь... просыпались жела-

ния. Это принято поэтизировать, но я буду выражаться просто: моя, — вы понимаете, моя чувственность окрашивала природу в особый колорит соблазна, а я приписывал все это исключительно ей...

По его худощавым плечам пробежала нервная дрожь.

— И вот... Вам не скучно?

— О, нет, нет... — поспешила его успокоить Ненси.

— Я ведь потому... Мне хочется сказать, как все это во мне возникло — внутреннее — и подавило материальное...

— Я знаю, знаю!.. — с живым сочувствием проговорила Ненси. — Какая тяжкая борьба!.. Так борются подвижники, аскеты...

— Нет, совсем нет! — горячо опровергнул Гремячий, и все лицо его внезапно вспыхнуло. — В борьбе нет правды. Борьба сама по себе фальшь и самоуслаждение... Созерцай правду в себе, восстань сам против себя за эту правду, тогда все совершится без борьбы... потому что — внутреннее — сильнее, самовластнее плоти... Я ненавижу, я презираю аскета. Он лицемерен, и этим горд!.. Насилие

над природой? Нет! Правда только в свободе... Борьба — самообман, борьба есть приказание, — продолжал, сам уходя с увлечением в свои мысли, Гремячий.

Он замолчал. Молча сидела Ненси, с опущенными вниз веками. Длинные ресницы делали щеки точно прозрачными; кисти небрежно опущенных на колени рук слегка вздрагивали... И когда она подняла глаза — Гремячий был поражен тем лучезарным светом, который исходил из этих глаз...

Сеансы все принимали более и более нервный характер. Ненси сама торопила художника, точно боялась, что он не успеет закончить начатое.

Между Гремячим и ею установились совсем особенные отношения. Как будто, среди общего течения жизни, они были унесены на далекий, безлюдный остров, где жили они только вдвоем. Это был иной мир — туманный, полуфантастический. Они боялись инстинктивно чужого вторжения. Они ревниво оберегали этот прекрасный, полный обаяния мир, как оберегали бы редкий, нежный цветок, чтобы от грубого прикосновения чьей-

нибудь неосторожной руки не потерял он свой чудный аромат.

То не была ни любовь, ни дружба.

То было свободное, совсем свободное единение двух душ.

* * *

Юлия Поликарповна слегла. Уже целую неделю не было видно, в аллеях парка, ее громоздкого кресла и в нем маленькой, сгорбленной фигурки с пледом на больных ногах.

Выдался пасмурный день, и Гремячий не мог работать. Ненси просила его проводить ее до Юлии Поликарповны, так как Марье Львовне нездоровилось, и она оставалась дома.

Помещение Юлии Поликарповны находилось в первом этаже. Ненси вошла в какой-то полумрак. Липы, под окнами, дающие приятную тень во время солнцепека, теперь придавали комнате неприятный, мрачный характер.

Старуха лежала на кровати, закинув навзничь голову.

— Кто это, Валя?.. — спросила она, не двигаясь, слабым, хриплым голосом.

— Я... Юлия Поликарповна, — робко ответила Ненси.

— А? Кто? Говорите громче, громче говорите...

— Ненси.

— А-а-а-а... Ну хорошо! Прощайте... прощайте... прощайте... Прощай, милая девочка... А? Правду я говорю, Валя?..

— Что вы говорите?

Валентина подошла к кровати.

— К вам гости пришли.

— Я и говорю: прощай, милая девочка... Ты знаешь ведь, что я люблю Ненси... Прощай, милая девочка, — повторила она протяжно. — Я уезжаю... как только эти проклятые доктора спустят с постели — кончено! — еду непременно... А? Правду я говорю, Валя?.. Переверни-ка меня.

Карасева перевернула на бок несчастный говорящий скелет.

Юлия Поликарповна бессмысленно смотрела своими мутными глазами на Ненси.

— Куда ты едешь? — спросила она шепотом.

— Не я, а вы...

— Ах, да-да-да! Я еду... непременно еду... Проклятые... проклятые!..

— Ну, чего вы!.. — Валентина плотно провела платком по желтым, иссохшим щекам старухи. Та точно не чувствовала грубого прикосновения.

— Успокойтесь, Юлия Поликарповна! — проговорила Ненси.

— Уеду, уеду, уеду, уеду!.. Теперь же найму дачу в Петергофе, а в будущем году начну строить собственную... Совсем другое дело, когда живешь в собственной даче... А? Правду я говорю, Валя?

Ненси встала. Душная, мрачная комната, острый запах лекарств, тусклое небо, шум дерева под окном, белая бабочка, случайно залетевшая в комнату, мутные глаза умирающей старухи, в своем жалком одиночестве цепляющейся за жизнь, — Ненси не в силах была больше выдержать.

— Прощайте, Юлия Поликарповна.

— Прощай, милая девочка, прощай, прощай... Ты едешь — и я уеду скоро...

Ненси бросилась, почти с рыданием, на встречу ожидавшему ее Гремячему.

— Это ужасно!.. Боже мой, это ужасно — так любить жизнь!.. — лепетала она.

Она отказалась сесть в кресло и пошла быстрой походкой, какой не ходила давно. Вплоть до отеля они не проронили ни слова и молча расстались.

Нервная возбужденность не покидала Ненси до самого вечера, вечером и ночью; а на утро она уже не могла подняться с постели.

Она попросила послать за Гремячим.

— Ну, прощайте, Антонин Павлович, — сказала она, улыбаясь, протягивая исхудавшую, бледную руку. — Спасибо... и больше не надо.

— До свидания, — произнес он.

Глаза их встретились.

Это было в последний раз. Больше ни она, ни он не видались.

Болезнь приняла острую форму. Ненси уже не повидала постели. Она сделалась вялой, часто забывалась тяжелым сном; во сне металась беспокойно; ее громкие жалобные стоны рвали за части сердце я день и ночь не повидавшей ее бабушки.

Теперь несчастная Марья Львовна не со-

мневалась, не надеялась. Жестокий Дамоклов меч висел над ее головой, и она покорно ждала беспощадного удара.

Был теплый июльский вечер. В отворенные окна несся ледовый запах цветущих лип. Сумерки окутали комнату своим мягким, туманным полусветом. Ненси открыла глаза. Увидя бабушку возле себя, она сделала манящий знак рукой. Марья Львовна придвинулась совсем близко к ее изголовью.

— Все это ничтожно, — слышался тихий, постоянно обрывающийся голос Ненси, — и не надо меня жалеть... Я умру... я это хорошо... Не плачь... не надо...

Марья Львовна не плакала. Слезы были бы слишком ничтожными выразителями ее великого горя.

Наступил конечный период болезни. Диабет быстро довершал свое дело, чему помогала еще больше молодость Ненси. Как отвратительный удав, выдавливая жизненные соки, болезнь жадно уничтожала беспомощную жертву. Распадались ткани, разрушалось тело. Угасала жизнь...

XXVII.

Была вторая половина августа. Уборка хлеба давно кончилась; оставались кое-где яровое да греча; пахали, сеяли, шла молотьяба.

Юрий только что вернулся в обеду, с поля. На балконе сидела ожидавшая его Наталья Федоровна.

Собаки залаяли громко, неистово — приехал кто-то чужой.

Юрий вошел на балкон бледный, с телеграммой в руках.

— Из-за границы!.. — сказал он изменившимся голосом, подавая матери развернутый листок.

Наталья Федоровна, пробежав его глазами, вскрикнула.

Они весь день боялись оставаться вдвоем. Они провели ночь в слезах и воспоминаниях.

Солнце — не яркое, почти осеннее солнце, — заливало своими мягкими лучами небольшой расчищенный круг перед балконом.

На песке сидела хорошенькая белокурая

девочка и играла, укладывая песок в конические деревянные игрушечные формы.

Личико у нее было озабоченное, лобик смешно нахмурился и губки вытянулись вперед.

Юрий, сидя на балконе, любовно смотрел на девочку. Она была похожа на Ненси.

— Мама, — сказал он взволнованно сидящей тут же Наталье Федоровне, — скажи, как воспитывать женщину?

— Любить надо, — кротко ответила мать.

Но этот ответ не удовлетворил Юрия.

«Любить!.. — думал он грустно. — Ее любили... и что же? только замучили»...

Наталья Федоровна давно ушла, а Юрий остался сидеть, погруженный в думы:

«Убивать в человеке зверя... Нет, — не убивать — подчинять его духу... Так с детства — тогда хорошо».

Девочка, с тем же озабоченным видом, укладывала песок, высыпала из формочек и украшала его тогда пучками зеленой травы, лежащей у нее в платице.

Солнце ласково золотило ее головку...

* * *

Прошел год. В огромных залах Академии Художеств по целым дням шумно разгуливала пестрая, оживленная толпа. Выставка была в полном разгаре. Большие, средние и малые полотна, разукрашенные рамами, глядели со стен.

Около очень большого размера картины густою массой постоянно теснилась публика. Раздавались громкие похвалы.

Художник, известный когда-то мастерским изображением природы и пять лет уже отсутствовавший на выставках, — появился снова, с другим совсем направлением, и снова заставил говорить о себе.

В углу картины, возле самой рамы, размашистым почерком значилось: *Антонин Гремячий*.

С полотна глядели загадочные, лучистые, проникновенные глаза Ненси. Но только изменен был первоначальный план.

Среди волн прозрачного воздуха, вся залитая неизвестно откуда льющимся светом, окутанная похожим на серый туман плащом, с длинными, падающими по плечам волосами — стояла золотокудрая женщина... стро-

Гая... Картина называлась «Вечность»...

Н. Анненкова-Бернар.

«Вестник Европы», №№ 4–6, 1902

Примечания

Войдите! (фр.) (здесь и далее — примечания книгодела).

[^^^]

2

Что угодно барышне?

[^^^]

3

Она соблазнительна. О, она привлекательна!

[^^^]

Она совершает туалет.

[^^^]

Следует бережно

[^^^]

Это смешно

[^^^]

7

Здравствуйте, маменька.

[^^^]

8

Это так красиво... бледно-розовый...

[^^^]

Блондиночке.

[^^^]

«Ленивом» корсете — расстегивающемся спереди, на крючках.

[^^^]

Дорогая госпожа

[^^^]

СВОЮ СЕМЬЮ

[^^^]

Замке

[^^^]

Гран-Салев, гора Французских Предальп.

[^^^]

Тринадцать деревьев.

[^^^]

Это великолепно!

[^^^]

Лимонад

[^^^]

Дамба

[^^^]

Эгюий-Верт (Зеленая игла) — горная вершина в западной части Монблана.

[^^^]

Любовь еще неведомая...

[^^^]

А мои мысли очень печальны, мое дорогое дитя.

[^^^]

Ни звука!

[^^^]

Я сама очень несчастна...

[^^^]

«Креди Лионэз», «Лионский кредит» — французский банк.

[^^^]

25

Спасибо, моя добрая маменька!

[^^^]

Маменька... добрая моя... Я влюблена!

[^^^]

Я была слишком молода, чтобы понимать жизнь.

[^^^]

Для молодой девушки

[^^^]

Я даже долго оставалась девственницей, честное слово!

[^^^]

Мы были как друзья.

[^^^]

Тем не менее

[^^^]

Конечно

[^^^]

Когда я была совершенно одна...

[^^^]

Меня любили много, много...

[^^^]

Это моя гордость...

[^^^]

«Любовь это жизнь» (итал.)

[^^^]

Грустные романы

[^^^]

Новое

[^^^]

Они негодяи!

[^^^]

Я влюблена

[^^^]

Но сведущ в любви

[^^^]

Он любит меня.

[^^^]

43

В определенном возрасте, это так приятно.

[^^^]

«Патетическая».

[^^^]

«Отчего?» (нем.)

[^^^]

Нехватка образования

[^^^]

Этим безусловно следует заняться.

[^^^]

Ей шестнадцать лет...

[^^^]

Колонна на площади Бастилии, поставленная
в честь Июльской революции 1830 г.

[^^^]

«Во славу французских граждан, выступивших с оружием и сражавшихся в защиту публичных свобод».

[^^^]

Площадь Согласия.

[^^^]

«Последний звонок». Имеется в виду картина Шарля-Луи Мюллера (Charles-Louis Müller) *L'Appel des dernières victimes de la Terreur à la prison Saint Lazare à Paris les 7–9 Thermidor an II* («Звонок для последних жертв Террора в парижской тюрьме Сен-Лазар 7–9 термидора 2-го года Республики»), находящаяся в музее Версаля.

[^^^]

Барышня.

[^^^]

Жизнь красивой женщины — это великолепное счастье.

[^^^]

Ты красива, ты богата, моя маленькая. Это все, что нужно, чтобы быть счастливой.

[^^^]

Даже когда ты будешь замужем... Тоже красивый и богатый, как ты... Вечно преданные

[^^^]

Немного...

[^^^]

Это пройдет со временем.

[^^^]

Как я буду рада

[^^^]

Будьте так любезны

[^^^]

Со своим очаровательным сыном...

[^^^]

Она ничуть не элегантна, но добрая простушка.

[^^^]

Доброе дитя!

[^^^]

Это было блестяще, что-то великолепное!

[^^^]

65

Он очень одарен, ваш сын!

[^^^]

Что они сделали?

[^^^]

Зажгите свет.

[^^^]

Обворожительно!

[^^^]

Что с ней, с малышкой?

[^^^]

Дорогая

[^^^]

Ты должна сказать мне правду!

[^^^]

Это все?

[^^^]

Без поцелуев?

[^^^]

Слава богу!

[^^^]

Ты прекрасна, богата, молода

[^^^]

Бог знает кто

[^^^]

Это слишком!

[^^^]

Дитя мое...

[^^^]

Кто знает? — с такой страстным сердцем!

[^^^]

Она так хрупка, бедное дитя!

[^^^]

Может быть, все пройдет, он слишком молод... Он станет сильнее... Слишком худой... Вот беда... А потом... Он немного диковат... Хорошее окружение...

[^^^]

Он беден... он будет как раб рядом с красивой и богатой женщиной... Кто знает? мужчину... столько желанных качеств для мужа... Любовь невинных детей... Так и будет!..

[^^^]

Дитя мое... Но что поделать?

[^^^]

Которым благословила меня моя дорогая ма-
тушка

[^^^]

Ужасных и любимых детей

[^^^]

Его сын недалеко отсюда

[^^^]

Эта бедная женщина

[^^^]

Ей-богу

[^^^]

Все кончено.

[^^^]

Вот и наши дети!.. дорогая, будьте осторожны!

[^^^]

И не холит себя.

[^^^]

Ты счастлива, милая?

[^^^]

Ну скажи мне все откровенно...

[^^^]

Ты же не забыла свою бедную бабушку?

[^^^]

Бесчувственным

[^^^]

Венерой

[^^^]

Бедной девочке

[^^^]

У нее очень хорошее сложение... но она так молода... это может исказить ее формы.

[^^^]

Другом своим детям

[^^^]

Этот маленький негодяй

[^^^]

Как она спокойна, бедная девочка.

[^^^]

Она слишком молода!

[^^^]

Весьма добросовестной

[^^^]

Ах, какая глупость! ..быть прекрасной женщиной... Это возмутительно!

[^^^]

Но мы поедем вместе.

[^^^]

Как? Никогда! Ты сошла с ума, дорогая девочка!

[^^^]

Но ты умрешь! ...Умереть такой юной, такой прекрасной! И он это очень хорошо знает... Вот верная и нежная любовь!

[^^^]

Мое дорогое дитя... Давай будем рассудительнее. Мужчина уже женат — и он намеревается учиться?

[^^^]

Ты так хороша, так молода... Концерты, спектакли, дамы, наряды — это веселье, это развлечения. Следует начать жить.

[^^^]

...это решено. Москва? Я ее ненавижу — с этими грязными улицами, этими купцами, с этой обыденностью.

[^^^]

Нет другого выбора. Это немного лучше... я так думаю.

[^^^]

«Утраченные иллюзии», картина Шарля Глейера, «Свобода, ведущая народ», картина Эжена Делакруа, «Смерть Елизаветы», картина Поля Делароша.

[^^^]

«Вот верная и нежная любовь!»

[^^^]

Вот начало! ...О Ненси, дитя мое, ты так несчастна, бедная крошка! Вот она любовь! Вот!

[^^^]

Ненси, мое милое дитя... По крайней мере, послушайся. Он должен быть наказан, он должен остаться в одиночестве и осознать свое преступление... все пропадет. Это наказание наиболее чувствительно для мужчин...

[^^^]

С этим тупицей!

[^^^]

Отвечай же!

[^^^]

Это возмутительно!

[^^^]

И эта бедная маленькая женушка останется одна! Но она любит тебя!

[^^^]

120

Ступай, ступай!

[^^^]

Она поможет во всех ваших делах!

[^^^]

Дорогой.

[^^^]

123

Увядшей розы, желтый

[^^^]

Подобный наряд

[^^^]

Поправить маленькой баской, украшенной бисером...

[^^^]

О, это совершенство! Но с поправкой!

[^^^]

Деточка-чаровница

[^^^]

Обожаю маленьких детей.

[^^^]

О, бедняга, бедняга. Мелкие осколки...

[^^^]

Ну как, мы довольны?

[^^^]

Сперва почитаем стихи.

[^^^]

Он талант...

[^^^]

Он красавец!

[^^^]

Твердая цена

[^^^]

Я слегка опоздала.

[^^^]

Ты замужняя (дама).

[^^^]

Я хочу сказать вам два слова.

[^^^]

Ах, дорогое дитя, это совершенно обычная история. Ты — женщина...

[^^^]

Он очень красив.

[^^^]

Будь рассудительна.

[^^^]

Несчастное существо... ужасное животное!

[^^^]

Разбойник

[^^^]

Одинока, оставлена.

[^^^]

Деточка-чаровница, маменька-чаровница.

[^^^]

Бабушка

[^^^]

Источник всех чаровниц.

[^^^]

Слишком старая уже, дорогой.

[^^^]

Это другое дело... замужняя женщина... как подруги... Довольно! У меня есть дочь...

[^^^]

Моя дорогая девочка, ты плачешь? Ты несчастна?

[^^^]

О, бедное дитя, ты слишком юна!

[^^^]

Замужняя женщина.

[^^^]

Мужчина в возрасте — для юной женщины

[^^^]

Зд.: Наслаждайся юностью!

[^^^]

Ты уже спишь?

[^^^]

Горячее блюдо с холодным соусом или заправкой.

[^^^]

Спаржа

[^^^]

Молодая женщина

[^^^]

Комедиантка, переносящая нарочитую актерскую манеру в жизнь.

[^^^]

Ты хорошенькая.

[^^^]

Смелей, смелей!

[^^^]

Чаровница и большой талант!

[^^^]

Я люблю свою родину.

[^^^]

Морские купания.

[^^^]

Она очень дружелюбна, эта милая крошка.

[^^^]

На самом деле все же дикарка.

[^^^]

Ах, как я люблю народ, деревню! Это так красиво!

[^^^]

Он еще очень привлекателен.

[^^^]

Великий артист

[^^^]

Да ты с ума сошла...

[^^^]

О, какие страдания!

[^^^]

Сиделки

[^^^]